

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ



БЛОКАДА

КНИГА II *Легендарные романы
об осажденном городе*



Легендарные романы об осажденном городе

Александр Чаковский

Блокада. Книга 2

«Яуза»

1969

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Чаковский А. Б.

Блокада. Книга 2 / А. Б. Чаковский — «Яуза»,
1969 — (Легендарные романы об осажденном городе)

ISBN 978-5-04-101299-1

К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. Как выстоять и защитить Родину, если враг блокировал Ленинград и уже стоит на подступах к столице? Где взять силы не поддаться ужасу и панике, превратившись в труса и предателя, когда любимый город охвачен блокадным кольцом? Что позволило жителям осажденного города не только выстоять, но и навеки остаться в памяти потомков? В книге выдающегося писателя, военного корреспондента Александра Борисовича Чаковского объективно и достоверно, живым и ярким языком описываются события осени 1941 года, когда враг неуклонно продвигался в глубь советской территории. Воссоздается беспримерный героизм жителей блокадного города, не сдавшихся, не преклонивших голову, вложивших свой непосильный вклад в дело Великой Победы.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-101299-1

© Чаковский А. Б., 1969
© Яуза, 1969

Содержание

Часть первая	6
1	6
2	14
3	24
4	31
5	38
6	44
7	51
8	54
9	63
10	67
11	79
12	86
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Александр Борисович Чаковский

Блокада. Книга 2

© Чаковский А.Б., наследники, 2019

© ООО «Издательство «Яуза», 2019

© ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *



Часть первая

1

Ранним сентябрьским утром 1941 года с одного из ленинградских аэродромов поднялся самолет и взял курс в сторону Ладожского озера.

Небо было покрыто рваными облаками. Накрапывал мелкий осенний дождь.

Оставшиеся на летном поле люди некоторое время стояли неподвижно, провожая тревожно-настороженными взглядами низко летящий «Дуглас»...

В пассажирском отделении самолета, в ближайшем к кабине пилотов кресле, сидел высокий сухошавый человек в адмиральской форме – нарком Военно-морского флота Николай Герасимович Кузнецов.

Положив на сиденье соседнего кресла портфель и фуражку, он повернулся к окну, раздвинул занавески. Самолет летел низко, едва не задевая крыши изб и кроны деревьев.

Вскоре сквозь мутный плексиглас Кузнецов увидел впереди зеркальную гладь огромного, точно море, озера.

«Ладога... – мысленно произнес Кузнецов и повторил с глубокой горечью: – Ладога!...»

Вот уже несколько дней только по этому суровому озеру мог сообщаться со страной блокированный с суши Ленинград. Вода и воздух – других путей отныне не существовало.

Приблизившись к озеру, самолет спустился еще ниже, – казалось, что колеса «Дугласа» сейчас коснутся воды. В какое-то мгновение они и впрямь едва не вспороли водную гладь, но уже в следующую минуту самолет резко взмыл к черным облакам, нависшим над озером. Сверкнула молния. Самолет сильно трянуло. Теперь за окном уже ничего нельзя было разглядеть: все заволочла белесая муть.

Еще какое-то время Кузнецов смотрел в прямоугольник окна, задумчиво наблюдая, как на внешней стороне плексигласа пляшут круглые водяные капли.

Снова, на этот раз где-то совсем рядом, сверкнула молния, и самолет точно провалился в глубокую яму. Кузнецову показалось, что мотор стал гудеть глуше, но он знал, что это только кажется: от перемены высоты заложило уши.

Кузнецов обернулся. Он увидел, как немолодой боец, согнувшийся на высоком вращающемся сиденье у пулемета, снял пилотку и провел тыльной стороной ладони по лбу, стирая выступивший пот, хотя в самолете было отнюдь не жарко. Адьютант Кузнецова, сидевший в одном из задних кресел, решив, что нарком хочет что-то сказать ему, застегнул воротник кителя, поднялся и пошел по проходу вперед.

Но Кузнецов молчал.

Адьютант вошел в кабину пилотов и, через минуту вернувшись обратно, доложил:

– Полный порядок, товарищ адмирал! По радиосводке до самого Тихвина сплошная облачность. А там уж и до дома рукой подать.

Кузнецов усмехнулся:

– Значит, порядок, говоришь?

– Так точно, товарищ адмирал! – преувеличенно бодро ответил адъютант и добавил, уже меняя тон на неофициальный: – Пока до Ладоги летели, как куропатку могли подбить! Да и над озером очень даже запросто – как-никак без прикрытия идем.

В его бодром тоне были нотки осуждения: он считал, что, полетев без прикрытия, нарком проявил явное легкомыслие.

Но адъютант ошибался. Кузнецов хорошо представлял себе степень риска. Вражеская авиация бомбила Ленинград днем и ночью. Немецкие аэродромы находились теперь в непо-

средственной близости от города, и любой самолет, вылетающий из Ленинграда, подвергался реальной опасности быть сбитым. И прежде всего это, конечно, касалось машин гражданского типа: наскоро оборудованные пулеметными установками, они почти не имели шансов уцелеть в столкновении с боевыми машинами немцев.

Обо всем этом Кузнецов хорошо знал. И тем не менее не считал возможным брать прикрытие: слишком дорог был каждый истребитель в Ленинграде. К тому же небо сегодня, к счастью, было облачным, что облегчало перелет.

Но сейчас, сидя в кресле «Дугласа», Кузнецов просто не думал об опасности. С той минуты, как он вылетел из Ленинграда, все его мысли были заняты одним – предстоящим докладом Сталину об обстановке, сложившейся на Балтике.

И хотя перед глазами наркома как бы независимо от его сознания возникали, сменяя одна другую, картины недавнего прошлого – он видел израненные после перехода из Таллина корабли на кронштадтском рейде, видел огромное, казалось охватившее полнеба, зарево над юго-восточной частью Ленинграда от горящих после вражеского налета Бадаевских продовольственных складов, – думал Кузнецов сейчас только об одном: о предстоящей встрече со Сталиным.

Адъютант, убедившись, что адмирал никак не реагирует на его слова, вернулся на свое место.

Кузнецов скользнул взглядом по альтиметру, прикрепленному к стенке, отделяющей кабину пилотов от пассажирского салона, машинально отметил, что черная стрелка ползет вверх, потянулся к лежащему на соседнем сиденье портфелю, вытащил из него большой блокнот и стал перелистывать мелко исписанные страницы...

Итак, он прибудет в Москву не позже десяти утра, с аэродрома отправится к себе в наркомат и оттуда доложит в секретариат Сталина о своем возвращении.

Сможет ли Сталин принять его сегодня же? Не изменился ли за эти две с лишним недели распорядок работы Ставки Верховного главнокомандования?

...Из Москвы Кузнецов улетел в конце августа. Тогда, в августовские дни, столица еще мало напоминала фронтовой город.

Несмотря на то что стены домов были оклеены военными плакатами, а по улицам то и дело проходили колонны бойцов, мчались в сторону Минского, Можайского и Волоколамского шоссе военные грузовики и выкрашенные в маскировочные цвета легковые автомашины, внешне гигантский город продолжал жить привычной мирной жизнью. По крайней мере днем. Потому что вечером все менялось: десятки аэростатов воздушного заграждения придавали необычный вид московскому небу, к станциям метро устремлялись потоки людей, главным образом женщин с детьми, чтобы в безопасности провести ночь, а на опустевших улицах гулко звучали шаги комендантских патрулей.

Месяц спустя после того, как советские пограничные земли впитали в себя первую кровь наших бойцов и мирных граждан, немцы предприняли первый большой авиационный налет на Москву.

Налет произошел поздно вечером, точнее, в ночь на 22 июля, и москвичам, которые к тому времени уже не раз слышали вой сирен и видели, как лучи прожекторов бдительно обшаривают небо, казалось, что этим все ограничится и теперь. И только когда стены домов стали содрогаться от бомбовых разрывов, а ночное небо осветилось заревом пожаров, они поняли, что тревога объявлена не напрасно.

С тех пор москвичи уже успели привыкнуть к бомбежкам, научились не бояться зажигалок, тушить пожары.

Каждое утро, прослушав сводку Совинформбюро, они спешили к картам. Карты приобрели особую ценность. Их выдирали из школьных учебников, из старых энциклопедий, из книг, посвященных Первой мировой и Гражданской войнам. К ним с тревогой прикладывали

школьные линейки, угольники, клеенчатые портняжные ленты, разделенные на сантиметры и миллиметры, полоски из школьных арифметических тетрадок «в клеточку», стараясь перевести масштабы карт в реальные расстояния. И каждое новое сообщение о боях за тот или иной город, будь то Львов, Витебск, Минск или малоизвестная Лида, болью отзывалось в сердцах.

Если в июле столице угрожали лишь воздушные налеты, то в конце августа у москвичей появились реальные основания для более серьезной тревоги. Бои шли в районе Смоленска. Все новые и новые предприятия и учреждения эвакуировались из столицы на восток.

И все же, несмотря ни на что, жители столицы не допускали и мысли, что немцы могут захватить Москву.

«Родина-мать зовет!», «Все для фронта, все для победы!» – взывали лозунги и плакаты на улицах города, в цехах, в учреждениях. И этим стремлением помочь борьбе с врагом жили в те трудные дни все советские люди.

Почти из каждой семьи кто-нибудь ушел на фронт. Тысячи москвичей вступили в дивизии народного ополчения. Круглосуточно работали заводы, выпуская военную продукцию.

Газеты и радио сообщали о фактах беспримерного героизма бойцов и командиров Красной Армии. Героизм стал массовым. Все это вселяло надежды на скорый перелом в ходе войны.

Радовали и решительные действия советской дипломатии: подписание соглашения с Англией о совместных боевых действиях против гитлеровской Германии, встречи Сталина с приехавшим в Москву личным представителем Рузвельта Гарри Гопкинсом...

И, ложась спать в свои ли привычные постели, на казарменные ли койки в заводских общежитиях, на раскладушки, устанавливаемые на ночь в райкомах и парткомах, на деревянные лежаки, расставленные на платформах станций метро, люди верили в то, что благодаря вводу в бой новых, могучих резервов или революционным событиям в самой Германии положение решительным образом изменится.

Ранним утром, вслушиваясь в сводку Совинформбюро, торопливо развертывая свежие газеты, они с горечью убеждались, что перелом еще не наступил, но продолжали жить надеждой на день следующий...

Те из москвичей, чей путь на работу проходил через центр города, редко упускали случай пройти по Красной площади и с радостью убедиться, что, несмотря на очередной ночной воздушный налет, Кремль стоит непоколебимо. И пожалуй, не было человека, который непроизвольно не замедлил бы шаг и не бросил бы пристального, полного веры и надежды взгляда на возвышающийся над зубцами Кремлевской стены купол желто-белого правительственного здания.

В то время мало кому доводилось бывать в Кремле и тем более знать, где и какое учреждение там расположено. Но именно это здание, над куполом которого в мирное время привычно развевался огромный красный флаг, миллионы людей воспринимали как центр руководства страной.

И, проходя по Красной площади, столь родной и знакомой, несмотря на камуфлирующие рисунки, покрывающие ее брусчатку, москвичи с особым чувством обращали свои взгляды к окнам этого здания. Может, именно сейчас там, в одном из кабинетов, Сталин обдумывает нечто такое, что решительно изменит весь ход войны! Ведь не случайно принял он на себя обязанности наркома обороны, а совсем недавно – Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Советского Союза! Может быть, именно в эти минуты Сталин и дает указания, которые по каким-то неизвестным, но важным причинам нельзя было дать раньше, указания, в результате которых все изменится к лучшему, произойдет желанный перелом. Так думалось москвичам.

Вера в могущество социалистического государства, в Красную Армию в то время у советских людей была неразрывно связана с верой в Сталина. И не только потому, что именно он стоял во главе Центрального Комитета в годы великих преобразований страны, героических

трудовых свершений партии и народа, но и благодаря поощряемому самим Сталиным культу его личности.

И хотя в своей речи третьего июля он откровенно сказал народу горькую правду о положении, в котором оказалась страна в результате вторжения немецких полчищ, а все последующие события показали, что враг силен и победа над ним еще далека и потребует напряжения всех сил, воли и готовности стоять насмерть, – тем не менее привычная уверенность в могуществе и мудрости Сталина была столь велика, что в первые недели и даже месяцы войны от него ждали чуда.

Поэтому людям хотелось хотя бы мысленно проникнуть в Кремль и представить себе, что же делает там, в своем кабинете, Верховный главнокомандующий...

И мало кто знал, что тогда, в августе, Сталин обычно проводил вторую половину своего рабочего дня не в Кремле, где еще только строилось убежище, достаточно надежное для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу Ставки во время бомбежек, а в неприметном особнячке с мезонином, неподалеку от станции метро «Кировская», и всего лишь невысокая решетка-ограда отделяла этот близко стоящий к тротуару дом от потоков людей, текущих по улице Кирова.

В другом, расположенном рядом большом здании разместилось Оперативное управление Генерального штаба. Подземный переход соединял этот дом со станцией метро, также превращенной в служебное помещение Генштаба.

В последний раз Кузнецов видел Сталина в конце августа именно там, на Кировской.

Он помнил все подробности этой встречи, все до малейших деталей.

Вот он, преодолев несколько выщербленных каменных ступенек, открыл дверь в небольшую приемную, где сидел помощник Сталина Поскребышев, поздоровался с ним.

Звонили телефоны. Не отрывая глаз от бумаг, Поскребышев снимал трубку и коротко отвечал: «Нет», «Сейчас занят», «Не знаю».

Все давно привыкли к тому, что только через кабинет Поскребышева можно проникнуть к Сталину, что его, Поскребышева, голос, как правило, звучал в трубке, прежде чем начинал говорить сам Сталин, что через его руки проходили все те бумаги, которые предстояло прочесть Сталину, и ему, Поскребышеву, передавал Сталин для дальнейшего исполнения важнейшие документы.

Всей своей манерой поведения, немногословием, сухостью Поскребышев как бы подчеркивал, что никогда не делает и не говорит ничего по собственной инициативе, а лишь то, что ему поручил сделать или сказать товарищ Сталин.

На лице этого низкорослого, с наголо обритой головой, говорящего грубым басом человека ничего нельзя было прочесть, оно всегда было сумрачно-строгим. И надежду на то, что тем или иным наводящим вопросом или другим искусным маневром у него можно выведать нечто такое, что пригодится в предстоящем разговоре со Сталиным, все, кому приходилось иметь дело с Поскребышевым, оставили давно.

Кузнецов, неоднократно бывавший у Сталина, естественно, хорошо знал характер Поскребышева и поэтому, прибыв к Верховному с намерением получить разрешение на выезд в Ленинград, даже не пытался выяснить, звонили ли в последние часы с какими-либо срочными сообщениями Ворошилов или Жданов и – что тоже было немаловажным – в каком настроении находится сейчас Сталин.

Кузнецов молча сел, скользнул взглядом по стенам приемной, по барельефам надменных горбоносых древних римлян, увенчанных лавровыми венками, по облупившимся лепным украшениям на потолке.

Он был здесь уже не в первый раз, но все еще не мог привыкнуть к обстановке, столь отличающейся от привычных кабинетов Кремля.

Недели три тому назад, впервые приехав в этот дом по вызову Сталина и вот так же ожидая, пока тот освободится, Кузнецов даже спросил Поскребышева, не знает ли он, кому некогда принадлежал этот захудалый, но с претензией на дворцовую роскошь особняк. Поскребышев недоуменно поглядел на адмирала, точно удивляясь, как его могут интересовать не имеющие никакого отношения к делу вопросы, сухо ответил: «Не знаю», – и на этом разговор был исчерпан.

Раздался негромкий, явно отличающийся от телефонного звонок. Поскребышев встал, одернул перепоясанную широким армейским ремнем гимнастерку, вышел из-за стола и, открыв расположенную справа дверь, перешагнул порог.

Он отсутствовал лишь мгновение и, появившись, сказал:

– Пройдите.

...Кузнецову, который сидел сейчас в кресле самолета, откинувшись на спинку и прикрыв набухшие от бессонных ночей веки, показалось, что он вновь входит в кабинет Сталина, вернее, в ту непривычную комнату с двумя расположенными в противоположных углах каминами, старинной люстрой, имитирующей гирлянду свечей, и причудливо расписанным потолком, в которой теперь работал Сталин.

Увидя входящего Кузнецова, Сталин поздоровался с ним кивком головы и негромко сказал:

– Слушаю вас, товарищ Кузнецов.

Сжато, коротко Кузнецов обрисовал положение, в котором оказалась основная часть Балтфлота, базирующаяся в Таллине, куда кораблям пришлось перейти после захвата немцами Лиепайи, и высказал мнение, что ввиду непосредственной угрозы, нависшей над Таллином, находящийся там флот надо срочно выводить в Кронштадт.

Сталин молча слушал Кузнецова, медленно шагая по комнате, и наркомуну казалось, что в эти минуты Верховный главнокомандующий думает о чем-то, не имеющем прямого отношения к его докладу.

Внезапно Сталин остановился и спросил:

– За Моонзундские острова и Ханко вы спокойны?

Смысл этого вопроса не нуждался в расшифровке: гарнизоны Моонзундских островов, полуострова Ханко и минное заграждение между ними закрывали вход кораблям противника в Финский залив.

– Все зависит от того, какими силами враг попытается прорваться в залив, – ответил Кузнецов. И, видя, что Сталин молчит, добавил: – Во всяком случае, необходимо немедленно перебазировать все корабли из Таллина в Кронштадт... И чем раньше, тем лучше!

В последних словах Кузнецова помимо его воли прозвучал косвенный упрек.

Кузнецов считал, что корабли следовало перебазировать из Таллина еще раньше, и ему было неясно, почему Ворошилов, в оперативном подчинении которого после создания Северо-Западного направления находился Балтфлот, медлил и не просил у Ставки санкции на отвод флота. Потому ли, что верил в возможность отстоять Таллин, или потому, что не решался обратиться с этим предложением к Сталину, который – это было известно Кузнецову – в последнее время не раз высказывал резкое недовольство отступлением войск Северо-Западного направления. Положение Кузнецова осложнялось тем, что помимо Ворошилова в Ленинграде находился Жданов, которому как секретарю ЦК еще до войны были поручены вопросы, касающиеся Военно-морского флота...

События самых последних дней убедили Кузнецова в том, что дальше откладывать отвод флота нельзя. Об этом он и счел необходимым доложить Сталину.

Сталин понял упрек, глухо прозвучавший в словах Кузнецова, пристально посмотрел на него и спросил:

– Скажите, товарищ Кузнецов: в какой мере корабельная артиллерия оказала помощь нашим войскам, обороняющим Таллин?

– По нашим данным, морская артиллерия в Таллине выпустила по врагу не менее десяти тысяч снарядов, – ответил Кузнецов. – Кроме того, флот послал на сухопутный фронт шестнадцать тысяч моряков. Словом, товарищ Сталин, если сегодня Таллин еще в наших руках, то в этом немалая заслуга Балтийского флота.

– Вот именно, – с некоторой назидательностью сказал Сталин. – Между прочим, Гитлер поставил своей целью захватить Ленинград не позже двадцать первого июля. Как вы думаете, почему им не удалось этого сделать?.. – Он помолчал, раскуривая трубку. – Одна из причин, несомненно, заключается в том, что они не смогли с ходу взять Таллин. Им пришлось перебросить в Эстонию из-под Ленинграда несколько авиационных соединений и три пехотные дивизии. Вам известно, сколько вообще вражеских дивизий сковали защитники Таллина?

– Я не могу ответить точно, но полагаю...

– По данным нашей разведки, больше пяти, – прервал его Сталин. – Значит, мы не зря держали в Таллине флот... И кроме того, на флоте лежит обязанность вывезти в Ленинград Таллинский гарнизон. В противном случае он будет сброшен в море, сегодня уже ясно, что Таллина нам не удержать.

...Тогда, в темную августовскую ночь, им не удалось закончить разговор в той комнате с двумя каминами и лепным потолком.

Кузнецов продолжал о чем-то говорить – сейчас он уже не помнил, о чем именно, кажется, о необходимости воздушного прикрытия во время перехода флота из Таллина в Кронштадт, когда неожиданно появившийся Поскребышев сообщил вполголоса: «Тревога».

И хотя звука сирены еще не было слышно, Кузнецов понял, что с командного пункта МПВО сюда уже сообщили о приближении вражеских самолетов к Москве.

Сталин, обернувшись к Кузнецову, сказал:

– Продолжайте.

Кузнецов подумал, что Сталин, который не должен, не имеет права рисковать собой, оставаясь в этом ветхом особнячке во время воздушной тревоги, не уходит отсюда только из-за него.

«Товарищ Сталин, – хотелось сказать Кузнецову, – мы требуем от всех штабных работников во время тревоги переходить в бомбоубежище. Поэтому мы и сами обязаны...»

Но он не произнес этих слов, не произнес потому, что почувствовал в них оттенок косвенной лести. А противоречивость характера Сталина заключалась и в том, что, терпимый к публичной лести по своему адресу и даже поощрявший ее, когда речь шла о «великом Сталине», «вожде и учителе», он не переносил подхалимства и угодничества в деловых разговорах, особенно когда они происходили с глазу на глаз. Поэтому Кузнецов промолчал.

Со стороны улицы Кирова, из-за зашторенных окон, донесся глухой звук сирены. Потом загрохотали зенитки.

Снова появился Поскребышев. Настежь раскрыв дверь кабинета и укоризненно поглядев на Кузнецова, он перевел взгляд на Сталина.

Тот оглядел зашторенные окна, подошел к столу, тщательно, однако без нарочитой медлительности выбил пепел из трубки в ладонь, сбросил его в медную пепельницу и, обращаясь к Кузнецову, сказал:

– Мы еще не договорили. Пойдемте.

Следуя за Сталиным, Кузнецов вышел во двор. Было темно, только время от времени небо вспарывали лезвия прожекторов. Зенитки грохотали где-то совсем рядом.

Справа и слева на мгновение вспыхивали и гасли лучики карманных фонариков, освещая Сталину путь, и тогда становились различимыми, вернее, угадывались стоящие по сторонам рослые, широкоплечие люди в военной форме и штатской одежде – сотрудники охраны.

Сталин, сопровождаемый Кузнецовым, не спеша прошел по деревянным мосткам, перекинутым через какую-то канаву, направляясь к соседнему зданию, где размещалось Оперативное управление Генерального штаба. У лифта, на котором им предстояло спуститься в подземный переход, ведущий на станцию метро «Кировская», Сталин сделал шаг в сторону, пропуская Кузнецова вперед.

...Перрон «Кировской» был отгорожен от туннеля высокой фанерной стеной.

Москвичи знали лишь то, что, как гласило объявление у входа в метро «Кировская», «Станция закрыта» и поезда здесь не останавливаются.

И только считаным десяткам людей в те дни было известно, что на платформе этой станции находится узел связи Генерального штаба и что наскоро оборудованные здесь же кабины служат во время воздушных налетов рабочими кабинетами Сталина, Шапошникова и группы работников Оперативного управления Генштаба.

Там, внизу, и закончил Сталин свой разговор с Кузнецовым, дав адмиралу разрешение на выезд в Ленинград.

Прощаясь, Сталин сказал:

– Перед отлетом получите специальное поручение. И пакет. Для Ворошилова и Жданова.

Но вечером, накануне того дня, когда Кузнецов должен был лететь в Ленинград, в его кабинете раздался телефонный звонок. Говорил Поскребышев.

– Приказано задержаться, – сказал он. – В Ленинград вылетает комиссия ГКО, и вы в нее включены. О часе вылета вас известят.

– Ясно, – ответил Кузнецов и добавил: – Товарищ Сталин сказал мне о пакете, который я должен...

– Приказано передать: пакета не будет, – перебил его Поскребышев.

Кузнецов вспомнил, как вместе с другими членами комиссии ГКО летел до Череповца, как там они пересели на поезд, как доехали до Мги, которая была объята пламенем пожаров, как, пройдя разрушенный участок пути, сели на дрезины и поехали навстречу высланному из Ленинграда бронепоезду. Через несколько дней узнали – Мгу захватили немцы, перерезав тем самым последнюю железную дорогу, связывавшую Ленинград со страной.

...Но все это было уже в прошлом, и, казалось, в далеком прошлом. А в ближайшем будущем было одно: доклад Сталину об итогах пребывания в Ленинграде и Кронштадте. И о чем бы ни думал сейчас Кузнецов, что бы ни всплывало в памяти, мысли его неизменно вновь и вновь возвращались к предстоящему докладу, тезисы которого были записаны в блокноте, лежащем сейчас на коленях наркома.

Вышедший из пилотской кабины командир корабля доложил Кузнецову, что только что пролетели Тихвин, что в Москве облачность, однако не очень низкая, и Центральный аэродром готов принять самолет.

– Когда прибудем в Москву? – спросил Кузнецов и, отвернув рукав кителя, посмотрел на часы.

– Должны быть через час, товарищ народный комиссар, с поправкой на встречный ветер – через час двадцать, – ответил пилот. Он был немолод, одет в форму гражданской авиации и говорил слегка окая.

Кузнецов чуть усмехнулся: за всю свою жизнь он не встретил летчика, который на вопрос «Когда прибудем?» ответил бы, не прибегая к осторожному – или суеверному? – «должны прибыть».

Через мгновение Кузнецов уже забыл и о пилоте, и о том, что им было сказано, – он опять думал о предстоящем докладе.

Прежде всего надо было попытаться представить себе, что знает и чего не знает Сталин относительно положения Балтфлота.

Занятый флотскими делами, Кузнецов задержался в Ленинграде и возвращался в Москву позже других членов комиссии ГКО. Какую оценку боеспособности войск Ленинградского фронта дали они Сталину? Как охарактеризовали положение Балтфлота? И принял ли Сталин уже какие-нибудь решения?

Сегодня дальнейшая судьба Балтфлота зависит от судьбы Ленинграда. Ведь захват врагом Ленинграда даже на короткое время означал бы конец существования Балтийского флота! Наземные войска, рассуждая теоретически, могут отступать до тех пор, пока за ними есть земля. Даже попав в окружение, они могут разорвать удавное кольцо. Но кораблям Балтфлота отступать некуда. Подобно огромным рыбам, маневренным и могучим в родной водной стихии, лишаясь ее, они обрекаются на гибель.

...Самолет резко шел на снижение, но за окном все еще не было видно ничего, кроме белесого тумана.

Потом туман стал реже и как бы тоньше, – казалось, самолет с усилием прорывает его. И вот наконец Кузнецов увидел знакомое поле Центрального аэродрома. Навстречу бежали аэродромные постройки, взлетел и тотчас же исчез в облаках какой-то самолет. Потом адмирал увидел вдаль, на взлетной полосе, бойца с красным и белым флажками в раскинутых руках и в ту же минуту ощутил резкий толчок, потом другой... Теперь самолет плавно, чуть вздрагивая, катился по бетону, выруливая к аэровокзалу, и Кузнецов услышал голос своего адъютанта:

– Прибыли, товарищ нарком!

Адъютант произнес эти слова нарочито бесстрастно, как бы подчеркивая, что лишь констатирует факт, но Кузнецов почувствовал в них с трудом скрываемую радость.

– Отсюда – куда, товарищ адмирал? – деловито осведомился адъютант.

– В наркомат, – сказал Кузнецов, беря свой набитый картами и документами портфель и засовывая в него блокнот.

Самолет остановился. Взревел на больших оборотах мотор и смолк. Наступила непривычная тишина.

Боец слез со своего высокого вращающегося стула и вытянулся, увидев, что адмирал встает и направляется к двери.

– Спасибо, товарищ сержант, – сказал Кузнецов, бросая взгляд на треугольники в петлицах пулеметчика.

– Служу Советскому Союзу!

– А если бы фрицы налетели, что сделал бы? – шутливо спросил Кузнецов.

– Что положено, товарищ адмирал! – серьезно, без тени улыбки ответил сержант.

Уже спускаясь по трапу, Кузнецов увидел, что к самолету торопливо направляется его заместитель адмирал Галлер.

Наскоро козырнув и пожав протянутую Кузнецовым руку, Галлер громко сказал:

– С благополучным прибытием, товарищ народный комиссар! – И тут же, точно обращаясь уже к другому человеку, произнес вполголоса: – Вам сейчас, Николай Герасимович, к Верховному надо ехать. Приказано – немедленно, как прибудете...

И, как бы предупреждая естественный вопрос, где именно в данное время находится Сталин, добавил:

– В Кремль.

2

Машина Кузнецова «ЗИС-101» мчалась по Ленинградскому шоссе, вспугивая идущий навстречу транспорт звуком специального сигнала, прозванного «кукушкой» или «лягушкой». Миновав улицу Горького, Охотный ряд и Моховую, «ЗИС» сделал резкий левый поворот и устремился к Боровицким воротам.

У ворот шофер чуть притормозил, давая возможность часовым заглянуть внутрь машины и увидеть хорошо знакомое им лицо наркома Военно-морского флота. Обогнув Ивановскую площадь Кремля, машина свернула в тупик и остановилась у подъезда, точнее, у крыльца, прикрытого железной крышей с кружевным металлическим козырьком.

Кузнецов быстро поднялся на крыльцо, потянул на себя дверь и очутился в знакомой прихожей. Мельком взглянув на вешалку, нарком убедился, что она пуста, – значит, у Сталина не было никого «извне», – торопливо повесил свою фуражку, подошел к расположенному слева, выступом, лифту и, увидев, что кабины на месте нет, не стал тратить время на ожидание – почти бегом, перепрыгивая через ступеньки, стал подниматься по лестнице.

Посмотрев по пути на себя в огромное, во всю стену, зеркало, Кузнецов на мгновение подумал, что недостаточно чисто выбрит – последний раз он брился ночью, перед вылетом из Ленинграда, – но тут же забыл об этом. Очутившись на втором этаже, он поспешно прошел через большую, овальной формы комнату для ожидания, которая на этот раз была пустой, и, повернув направо, зашагал по коридору, по левой стороне которого находился кабинет Сталина.

– Кто-нибудь есть? – спросил, войдя в приемную, Кузнецов сидевшего за столом Поскребышева, после того как они обменялись краткими приветствиями. – Я получил приказание явиться прямо с аэродрома.

– Один, – коротко ответил Поскребышев, встал, исчез за дверью и, быстро появившись снова, сказал: – Пройдите.

Войдя в так хорошо знакомую ему большую, светлую комнату, Кузнецов ощутил чувство удовлетворения: в противоположность обстановке в особняке на Кировской, напоминавшей о том, что ситуация в стране столь тревожна, что даже Сталину пришлось сменить свое рабочее место, – здесь, в Кремле, все было устойчиво и привычно. Над письменным столом, заваленным бумагами и папками, висел портрет Ленина, читающего «Правду», на длинном столе для заседаний, покрытом зеленым сукном, были разложены карты, лежало несколько остро отточенных карандашей. На правой от входа стене, по обе стороны окна, висели появившиеся здесь уже после начала войны портреты Суворова и Кутузова.

Сталин заканчивал какой-то разговор по телефону. Он положил на рычаг трубку и своей неслышной походкой направился навстречу Кузнецову. Поздоровался, протянув руку, что было необычно.

Кузнецов произнес первые фразы, продуманные еще в самолете, но Сталин прервал его:

– Вы видели Жукова?

Этот вопрос был совершенно неожиданным: где и когда Кузнецов, только что прилетевший из Ленинграда, мог видеть бывшего начальника Генштаба, ныне являющегося командующим Резервным фронтом?

Кузнецов недоуменно поглядел на Сталина и ответил не очень уверенно:

– Согласно полученному приказу я не заезжал в наркомат, а прямо с аэродрома направился к вам...

Поглощенный какими-то своими мыслями, Сталин сделал несколько шагов по красной ковровой дорожке вдоль длинного стола, потом остановился и, повернувшись к Кузнецову, резко сказал:

– Мы отзываем из Ленинграда Ворошилова. Командующим назначен Жуков. – Помолчал и добавил: – Очевидно, вы разминулись.

Эта новость была настолько неожиданной, что Кузнецов, ошарашенный, молчал. Может быть, за то время, пока он летел в Москву, положение в Ленинграде еще более ухудшилось?

Сталин хмуро сказал, как бы отвечая на его мысли:

– Врагу удалось прорвать нашу оборону юго-западнее Красного Села. Он бомбит Пулковские высоты. В Питере создается очень тяжелое положение. – И повторил: – Очень тяжелое.

Положение, в котором оказался Ленинград, Кузнецову, только что вернувшемуся оттуда, было, естественно, хорошо известно. Однако того, что немцам удалось прорвать нашу оборону в районе Красного Села, он еще не знал. И то, что об этом он услышал здесь, в Кремле, равно как и исполненный глубокой горечи тон, которым сообщил ему о новой неудаче под Ленинградом Сталин, произвело на Кузнецова тяжелое впечатление.

Он стоял, подавленный услышанным.

Сталин тронул его за рукав, кивком головы указывая на стоящий слева у стены кожаный диван.

Кузнецов никогда не видел, чтобы Сталин или кто-нибудь другой когда-либо сидел на этом диване. Он знал, что все в этой комнате подчинено раз и навсегда установленному порядку. Во время заседаний участники обычно сидели вот у этого длинного, покрытого зеленым сукном стола, а докладчик стоял. Сам же Сталин медленно ходил взад и вперед по комнате, время от времени останавливаясь, чтобы задать говорящему вопрос или бросить реплику.

Большой же, с высокой спинкой кожаный диван у стены всегда пустовал. Поэтому Кузнецов был удивлен, сообразив, что Сталин приглашает его сесть именно туда.

Он нерешительно опустился на диван рядом со Сталиным и положил портфель на колени.

– Какие корабли базируются сейчас в Кронштадте? – спросил Сталин.

Хотя Кузнецов отлично понимал, что будущее Балтфлота находится в прямой зависимости от положения на сухопутном фронте под Ленинградом, он, являясь наркомом Морского Флота, всеми своими мыслями был, естественно, обращен прежде всего к кораблям. Однако слова Сталина о смене командующего Ленфронтом, о поражении под Красным Селом оторвали Кузнецова от чисто флотских дел. Проблема Ленинграда и Балтики в целом как бы заново встала перед ним.

Он понимал, что и Сталина волнуют не частности, сколь важны бы они ни были, но именно судьба Ленинграда. Поэтому вопрос Сталина прозвучал для него неожиданно.

Сосредоточиться мешало и то, что Кузнецов находился под влиянием безотчетного ощущения, будто Верховный главнокомандующий еще до его прихода принял какое-то важное решение, которое уже ничто не в силах изменить. Кузнецов подумал, что Сталина сейчас интересуют не корабли как таковые, а нечто совсем другое, и о кораблях он спросил лишь для того, чтобы по ходу своих размышлений восполнить какое-то недостающее звено.

Но нужно было отвечать на поставленный вопрос.

Медленно, стараясь ничего не пропустить, Кузнецов перечислил названия и типы кораблей, находящихся сейчас в Кронштадте.

– В какой мере они участвуют в обороне Питера? – спросил Сталин, сжимая в кулаке, видимо, давно погасшую трубку.

– Поскольку в данное время противник на некоторых участках фронта находится на расстоянии артиллерийского выстрела от Ленинграда, то корабельная артиллерия... – начал Кузнецов, но умолк, почувствовав, что ему трудно и непривычно докладывать обстановку, не имея под рукой соответствующей карты.

Но все его карты, как и блокнот с подготовленными тезисами доклада, лежали в портфеле, который он так и не успел раскрыть.

– Вы разрешите, товарищ Сталин? – спросил Кузнецов, открывая портфель и поспешно вынимая оттуда нужную карту.

Удобнее всего было бы разложить карту на столе. Кузнецов хотел встать, но Сталин сделал жест, предлагая остаться здесь. Тогда Кузнецов стал торопливо раскладывать карту на том небольшом пространстве дивана, которое отделяло его от Сталина.

– Вот, товарищ Сталин, – указал он. – Здесь, на западе, между островами Эзель, Даго и полуостровом Ханко и островами Гогланд, Лавансари и другими в восточной части залива, оба берега и все водное пространство находятся в руках противника...

В этот момент Сталин, как бы следуя ходу своих, не имеющих прямого отношения к словам Кузнецова размышлений, прервал его.

– Следовательно, во время перехода из Таллина мы потеряли шестьдесят кораблей... – медленно проговорил он, не глядя ни на карту, ни на Кузнецова и не то спрашивая, не то просто констатируя факт.

– Пятьдесят девять, – уточнил Кузнецов, – пятьдесят девять из ста девяноста семи кораблей.

– Очень большие потери, – глухо сказал Сталин и добавил после короткого молчания: – Но они могут быть гораздо большими.

Кузнецову показалось, что Сталин оговорился, что он хотел сказать не «могут», а «могли быть», и это несколько ободрило его.

– Да, товарищ Сталин, – твердо сказал Кузнецов, – в создавшейся ситуации флот понес тяжелые потери, но они могли быть гораздо большими. Немцы наверняка рассчитывали потопить весь флот. Тотчас после выхода эскадры из Таллина они подвергли ее ожесточенной бомбардировке. Торпедные катера и самолеты противника вели непрерывные атаки. Необходимого воздушного прикрытия получить не удалось...

Кузнецов взглянул на Сталина, и ему показалось, что его слова не нашли в нем отклика.

«Представляет ли он себе, – вдруг подумал Кузнецов, – что значит под ударами вражеской артиллерии и авиации погрузить на корабли двенадцать тысяч бойцов Таллинского гарнизона и затем пройти по узкому Финскому заливу более трехсот километров, из которых почти сто двадцать густо заминированы, а оба берега на протяжении двухсот пятидесяти километров заняты противником?!»

Теперь только одна мысль, только одно желание владело Кузнецовым – доказать Сталину, что Балтийский флот в неимоверно трудных условиях выполнил свой долг. Знает ли Сталин, что для того, чтобы обеспечить хотя бы относительную безопасность движения эскадры по этому водному коридору смерти, требовалось минимум сто минных тральщиков, а в распоряжении командующего флотом их было всего десять?.. Знает ли он о том, что матросам приходилось по нескольку часов находиться в ледяной воде, держась за плавучие мины, чтобы предотвратить их столкновение с кораблями?..

На какие-то секунды Кузнецов перестал видеть Сталина. Перед глазами его плыли израненные, пробитые вражескими снарядами и торпедами корабли, он видел матросов и командиров, чьи головы и руки были покрыты пропитанными кровью повязками...

Он хорошо представлял себе тот ад, сквозь который прошли корабли, и знал, что не было и нет на свете другого флота, кроме советского, не было и нет других моряков, кроме советских, которые были бы способны на такой подвиг.

Всем своим существом Кузнецов ощущал, что его долг – рассказать об этом Сталину, долг перед живыми и перед теми, кто ныне лежит на дне Финского залива.

Ему хотелось, чтобы Сталин хоть на минуту представил бы себя на сотрясаемой взрывами корабельной палубе, у раскаленных орудий, увидел бы кипящее вокруг море, услышал бы стоны раненых, но не покидающих своих постов матросов, и понял бы, что моряки Балтфлота сделали все, что было в человеческих силах, – и возможное и невозможное...

И, будучи не в состоянии справиться с этим чувством, движимый лишь одним желанием – доказать Сталину, что флот до конца выполнил свой долг, Кузнецов начал горячо говорить...

Какое-то время Сталин слушал молча, потом поднял руку с колена и, дотронувшись до плеча Кузнецова, спросил с упреком и горечью:

– Зачем вы мне все это говорите, товарищ Кузнецов, зачем?!

Адмирал недоуменно замолчал, но потом твердо ответил:

– Для того чтобы доложить вам, что, несмотря ни на что, боевой дух балтийских моряков не поколеблен и что они готовы и дальше бить врага.

– И что же вы предлагаете? – Теперь Сталин глядел на Кузнецова в упор.

– Во-первых, использовать корабельные орудия для обстрела противника, который на юго-западных подступах к городу находится в пределах досягаемости артиллерийского выстрела. Во-вторых, выделить командованию Балтфлота необходимое количество винтовок, автоматов, пулеметов, гранат и бутылок с противотанковой жидкостью, чтобы вооружить часть флотских экипажей и использовать моряков в пехотном строю. Кроме того...

Но в этот момент Сталин опять прервал его:

– Товарищ Кузнецов! Я знаю, что моряки выполнили свой долг до конца! Но сейчас речь о другом... – Он остановился. Чувствовалось, что слова эти даются ему с трудом. – Обстоятельства могут сложиться так, что... врагу... удастся ворваться в Ленинград.

В первое мгновение Кузнецову показалось, что он ослышался, не понял смысла того, что сказал Сталин, хотя в Ленинграде эта же страшная мысль не раз приходила ему в голову. Но одно дело, когда об этом думал сам Кузнецов, другое – услышать это здесь, от Сталина.

Кузнецов растерянно посмотрел на Верховного и увидел на его обычно спокойном лице выражение душевной боли. Губы Сталина были сжаты настолько плотно, что усы скрывали их почти целиком, вены на висках набухли, и было заметно, как пульсирует в них кровь, рябинки на щеках обозначились резче, чем обычно.

О чем думал сейчас этот человек, неподвижно сидя в углу широкого кожаного дивана, сжимая в руке погасшую трубку? О том, что Жукову вряд ли удастся коренным образом изменить ситуацию? Что положение на других фронтах исключает возможность переброски на помощь Ленинграду крупных подкреплений? Что, несмотря на весь героизм советских бойцов, враг уже овладел Красным Селом, развивает наступление на Пулковку и его танковые части могут с часу на час ворваться на окраины города?

Кто знает, какой мучительной внутренней борьбы стоили Сталину только что произнесенные им слова...

Кузнецов молчал, весь как-то сжавшись в тревожном ожидании.

Сталин, делая, видимо, огромное усилие над собой и поэтому еще раздельнее и жестче, чем прежде, сказал:

– Прикажите подготовить корабли к взрыву.

...Пройдет время, и Кузнецов будет спрашивать себя: почему его так потрясли, привели в такое смятение слова Сталина? Почему вызвали столь сильное чувство протеста? Разве они были для него полной неожиданностью?..

Нет, Кузнецов хорошо знал, в каком тяжелейшем положении оказался Ленинград. Враг приближался к его окраинам, и если бы ему удалось овладеть городом хотя бы на день, то это, помимо всего остального, означало бы гибель Балтийского флота или, что еще страшнее, использование его против Красной Армии. Он знал о решении Военного совета Ленфронта подготовить к разрушению основные военно-промышленные объекты и взорвать их, если угроза проникновения врага в город станет неотвратимой. Он считал эти меры предосторожности необходимыми, отлично понимая, что оставлять врагу действующие заводы и электростанции, нетронутые мосты и боееспособные корабли было бы преступлением.

Да, несомненно, Сталин был прав, приказывая подготовить корабли к уничтожению.

Так почему же этот приказ так потряс Кузнецова?

Потому что за две недели пребывания в Ленинграде он проникся убеждением, что враг может войти в город только по трупам его защитников. Он знал, что сотни тысяч ленинградцев жили в те дни уверенностью, что никогда и ни при каких условиях город не будет отдан врагу.

Секретно проводимые подготовительные мероприятия на случай, если произойдет худшее, не противоречили этой убежденности, не колебали ее, не нарушали веры в победу.

Так почему же, когда аналогичный приказ коснулся кораблей Балтфлота, Кузнецов воспринял его как неожиданно обрушившуюся лавину? Только ли потому, что для него, военного моряка, корабли были главным в жизни?..

Нет, не только. Кузнецова потрясло то, что приказ о подготовке кораблей к взрыву отдал именно Сталин.

Как и все советские люди, Кузнецов в то время видел в Сталине высший авторитет, высшую концентрацию воли и разума.

Зная о положении на фронтах, о тяжелейших сражениях, которые вели Красная Армия и Флот на всех направлениях с рвущимися вперед немецкими войсками, Кузнецов не мог не понимать горькую закономерность принятого Сталиным решения.

Но ему было трудно, невероятно трудно воспринять только что полученный приказ лишь как логическую неизбежность. До тех пор пока эти слова не были произнесены, еще можно было надеяться, что даже в самой трагической ситуации Сталин сумеет найти решение, которое не под силу другим людям, отыскать какой-то выход из создавшегося положения.

Но после того, как Верховный отдал приказ, Кузнецов с особой, гнетущей силой почувствовал, осознал не только умом, но и сердцем, что, несмотря на весь героизм защитников Ленинграда, несмотря на их беззаветную решимость умереть, но не пропустить врага, возможность захвата города немцами исключить нельзя.

Несомненно, Сталин понимал, что происходит в эти минуты в душе Кузнецова. Ведь речь шла о судьбе Балтийского флота, самого большого и мощного из всех советских флотов, созданных в результате многолетних усилий советского народа.

Но разве миллионы людей годами не вкладывали свой труд, свой ум, веру, страсть, искусство и в те заводы, электростанции и шахты, которые уже пришлось разрушить, взорвать, затопить, чтобы они не достались врагу?

Так что же еще мог сказать теперь Сталин наркому Морского Флота? Напомнить, что речь идет об исключительной мере и что она будет принята лишь в самом крайнем случае? Но разве это не вытекало не только из смысла, но и из буквы отданного им, Сталиным, приказа? Ведь он не сказал: «Взорвать». Он сказал: «Подготовить».

И как ни трудно, как ни горько было Сталину выговорить эти слова, он ни минуты не сомневался в том, что должен был их произнести.

Может быть, его решимость укрепляли воспоминания о тех самолетах, которые из-за допущенного им рокового просчета не были своевременно укрыты или перебазированы и, так и не взлетев, оказались уничтоженными врагом на аэродромах в первый день войны? Или он вспомнил о Николаевских верфях, где в руки немцам попали еще не достроенные корабли?

Сталин не умел и не хотел утешать. Он был убежден, что только дело, только энергичные, целеустремленные действия могут – в особенности в критические моменты – заставить человека обрести душевное равновесие, напрячь все свои силы.

Поэтому он сухо и твердо сказал:

– Ни один корабль не должен попасть в руки врага. – И повторил: – Ни один. Вы понимаете это?

Кузнецов все еще молчал. Тогда Сталин еще резче сказал:

– Вы лично отвечаете за выполнение приказа. И предупредите, что каждый, кто его нарушит, будет строго наказан. Вам все ясно?

Кузнецову показалось, что эти резко и даже с угрозой произнесенные слова относились уже не к нему и даже не к тем людям, которым предстояло минировать корабли. Что Сталин как бы давал понять уже не столь далекому от Москвы врагу, что страна не остановится ни перед чем, принесет любые жертвы, пойдет на любые лишения во имя конечной победы.

Тем не менее по форме своей слова Сталина были обращены непосредственно к Кузнецову. И поэтому на вопрос «Вам все ясно?» нарком ответил:

– Да, товарищ Сталин.

– Тогда, – сказал Сталин, вставая и направляясь к столу, – составьте телеграмму Трибуцу с приказом подготовить корабли к уничтожению.

И тут Кузнецов, сам не отдавая себе отчета в том, что делает, подчиняясь какому-то непреодолимому порыву, громко, на одном дыхании, сказал:

– Я такой телеграммы подписать не могу.

Теперь он тоже стоял, вытянувшись во весь свой высокий рост, и глядел в спину медленно удаляющегося Сталина.

Тот резко повернулся. Его густые, с изломом, черные брови поднялись.

– Почему? – спросил Сталин, и в голосе его послышалось скорее недоумение, чем угроза.

– Потому что, – отчетливо, точно рапортуя, сказал Кузнецов, – Балтфлот оперативно подчинен командующему Ленинградским фронтом. И у исполнителей такого... – он остановился, подыскивая нужное, точное слово, – ...такого исключительного задания не должно быть и тени сомнения в том, что вопрос всесторонне обсужден Ставкой и решение утверждено вами лично. Указания наркома Военно-морского флота здесь мало.

Он умолк, ожидая вспышки гнева.

Но Сталин молчал.

О чем размышлял он теперь, глядя на вытянувшегося в напряженном ожидании, смотрящего ему прямо в глаза адмирала? Не о том ли, что Кузнецов в эту тяжелую минуту хочет уклониться от личной ответственности? Но, может быть, он подумал и о другом – о том, что нарком, по существу, прав и заставляя его единолично подписывать подобный приказ было бы и в самом деле чрезмерным?

Несколько мгновений длилось это напряженное молчание. Наконец Сталин повернулся, сделал несколько медленных шагов по комнате и остановился у края стола для заседаний, на котором были разложены карты.

Кузнецов тоже сделал несколько шагов к столу и из-за плеча Сталина увидел, что тот смотрит на сухопутную, мелкого масштаба карту Северо-Западного направления, на которой прочерченная красным карандашом линия фронта проходила непосредственно у самого Ленинграда. Наконец Сталин медленно проговорил:

– Хорошо. Поезжайте к Борису Михайловичу и подготовьте приказ за двумя подписями – его и вашей.

– Разрешите идти? – все еще с надеждой на то, что Сталин не ограничится этими словами, спросил Кузнецов.

– Идите, – коротко ответил Сталин и снова склонился над картой.

Среди высшего командного состава Красной Армии Маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников пользовался огромным авторитетом. Всеобщее уважение вызывали не только его большие военные знания, многолетний опыт штабиста, но и его личные качества. В характере маршала сочетались мягкость с твердостью, решительность с осторожностью, преданность делу, требовательность к подчиненным с какой-то особой, именно ему свойственной тактичностью, деликатностью.

Шапошникова в военных кругах не просто уважали, его любили. Даже Сталин, который, как правило, обращался ко всем, за исключением двух-трех членов Политбюро, только по

фамилии, всегда называл Шапошникова в глаза и заочно по имени-отчеству – Борис Михайлович.

В то время, когда происходил разговор Верховного с Кузнецовым, столь тяжкий для каждого из них, Шапошников находился в своем кабинете в том самом особнячке на Кировской, куда Сталин обычно приезжал во второй половине дня.

Этот небольшой двухэтажный дом с мезонином имел два входа. Один, ближний к улице Кирова, вел в приемную Сталина, другим подъездом, противоположным, пользовались те, кто шел к Шапошникову.

Собственно, эту низенькую дощатую дверь даже трудно было назвать подъездом, некогда она, по-видимому, служила черным ходом.

Именно туда, на Кировскую, и помчался из Кремля «ЗИС-101», в котором находился Кузнецов, еще из приемной Сталина известивший по «вертушке» Шапошникова о том, что имеет поручение срочно с ним встретиться.

По узкой железной лестнице нарком поднялся в приемную Шапошникова.

Это была странная маленькая комната с причудливо расписанным потолком и стенами, покрытыми инкрустацией под золото и серебро, напоминающей арабские письмена.

В этой тесной комнатке на обычных канцелярских стульях, так не гармонирующих с экзотическим великолепием стен, сидело несколько военных. При появлении адмирала они встали.

– Борис Михайлович ждет вас, – поспешно доложил пожилой полковник, один из адъютантов маршала, с трудом поднимаясь со стула, зажатого между стеной и письменным столом.

Кузнецов открыл дверь, ведущую в кабинет Шапошникова, и перешагнул порог.

Маршал сидел, склонившись над большим письменным столом. Справа от стола, у стены, стоял, очевидно, оставшийся от прежней обстановки и так нелепо выглядевший здесь сегодня огромный, неуклюжий резной буфет. В противоположной стене находилась дверь, ведущая в кабинет Сталина, – эти две комнаты непосредственно сообщались между собой.

Шапошников был в белой сорочке, широкие коричневые подтяжки резко выделялись на ней. Китель с большими маршальскими звездами в петлицах висел на спинке стула.

Увидев входящего Кузнецова, Шапошников приподнялся, поправил пенсне, протянул адмиралу руку, поздравил его с благополучным перелетом из Ленинграда и тут же стал торопливо надевать китель.

– Простите, дорогой, что принимаю не по форме, – сказал он несколько смущенно, – жара адская...

Кузнецов в нескольких словах рассказал маршалу о только что состоявшемся разговоре со Сталиным. Шапошников слушал внимательно, не прерывая, но когда Кузнецов сказал, что необходимо составить телеграмму за двумя подписями, маршал замахал руками и уже совсем иным тоном, энергично и вместе с тем просительно проговорил:

– Нет, нет, голубчик, вы уж меня сюда не втягивайте! Моя сфера – армия, а это дело чисто флотское. У флота начальство свое, так уж испокон веков повелось. Приказ получили вы, вот и выполняйте...

– Но, Борис Михайлович, – возразил Кузнецов, – ведь Верховный приказал дать телеграмму именно за двумя подписями – моей и вашей.

– Да? – недоверчиво, точно впервые услышав об этом, переспросил Шапошников и посмотрел на Кузнецова пристально, прищулив свои умные глаза за овальными стеклами пенсне.

Кузнецов смутился. Все, что он только что сказал Шапошникову, было сущей правдой – никогда и ни при каких обстоятельствах он не позволил бы себе допустить неточность в передаче приказа Сталина. И все же Кузнецову было не по себе, потому что он все-таки утаил от сидящего перед ним пожилого, всеми уважаемого человека одну деталь: то, что первоначально Сталин приказал подписать телеграмму только ему, Кузнецову. Разумеется, сейчас это уже не

имело значения – Сталин изменил свой приказ. И тем не менее после того, как Шапошников произнес свое недоверчиво-вопросительное «Да?», Кузнецов почувствовал некоторую неловкость.

Поэтому он сказал насколько мог твердо и официально:

– Товарищ маршал, Балтийский флот в оперативном отношении подчинен Военному совету Ленфронта. Это факт. Вместе с тем, как вид Вооруженных Сил, он подчинен мне, и это тоже факт, от которого я не уйду и уходить, естественно, не собираюсь. Но когда речь идет о судьбе целого флота – части Вооруженных Сил страны, это не может не касаться Генерального штаба Красной Армии. Есть и еще одно обстоятельство. Я только что узнал, что Ворошилов отозван из Ленинграда и на его место назначен Жуков. Георгий Константинович не такой человек, чтобы безоговорочно принять распоряжение флотского командования. Поэтому я убежден, что приказ должен быть подписан не только мною, но и по крайней мере начальником Генерального штаба. Не могу себе представить, что вы думаете иначе.

Шапошников слегка покачал головой, склонился над лежащей перед ним картой так низко, что Кузнецов видел теперь только его коротко остриженные, разделенные посредине прямым пробором гладкие седые волосы. Потом поднял голову и тихо сказал:

– Нет, голубчик, я не думаю иначе.

– Тогда, может быть, вам кажется, что я неточно передаю приказ товарища Сталина? – с некоторой запальчивостью спросил Кузнецов и почувствовал себя так, точно тщетно пытается вытащить причиняющую острую боль занозу. – Или... или вы считаете такой приказ... преждевременным?

Последние слова Кузнецов произнес с прорвавшейся в голосе надеждой, хотя прекрасно понимал ее тщетность.

– Нет, Николай Герасимович, я так не думаю, – с горечью, но твердо сказал Шапошников. – Знаю, убежден, что ленинградцы будут защищать город до... последней возможности. И тем не менее сегодня положение Ленинграда очень тяжелое... На войне, в особенности такой, как эта, храбрость должна сочетаться с предусмотрительностью. Ну, а если немцам все же удастся ворваться в город?... Что тогда? Разве можно допустить, чтобы враг вошел в ворота действующих заводов, поднялся на палубы боевых кораблей и обратил их орудия против тех, кто жив и продолжает сражаться?... Простят ли это живые мертвым? Снимут ли защитники Ленинграда с себя ответственность за будущее вместе со своим последним вздохом? Нет, – печально покачал головой Шапошников и повторил: – Нет, Николай Герасимович. Мы с вами старые солдаты и знаем, что нет!

– Но тогда почему же... – начал было Кузнецов, но осекся. Он хотел спросить: «Почему же тогда вы хотите устраниваться от участия в том тяжелом, но неизбежном деле, ради которого я приехал к вам?..»

Но Кузнецов не произнес этих слов, поняв, что они ни к чему; старый маршал сказал сейчас то, о чем и сам он размышлял, выехав из Кремля: как ни горек приказ Сталина, он правилен и неизбежен.

Однако Шапошников, видимо, и без слов понял смысл обращенного к нему вопроса.

– Потому, – тихо сказал он, – что война есть война, Николай Герасимович, и не мне говорить вам, что на войне может произойти всякое... – Он наклонился над столом, приближаясь к Кузнецову. – Ведь есть и другая сторона вопроса, назовем ее чисто практической. Вы готовы поручиться, что, получив наш приказ, какие-нибудь горячие головы там, на Балтике, не приведут его в исполнение раньше... крайней необходимости?

– Борис Михайлович, – воскликнул Кузнецов, – настоящему моряку легче пустить себе пулю в лоб, чем самому затопить свой корабль!

– Не сомневаюсь, голубчик, поверьте, не сомневаюсь! – согласно закивал головой Шапошников. – Но приказ есть приказ. И если тем, от кого будет зависеть его исполнение,

покажется, – он сделал ударение на этом слове, – что захват Ленинграда немцами неизбежен, то...

Маршал развел руками, откинулся на высокую резную спинку стула и продолжал:

– Видите ли, Николай Герасимович, на войне есть своя диалектика. И, как всякая диалектика, она не исчерпывается формальной логикой. Если рассуждать с позиции этой логики, то выходит, что враг одерживает одну победу за другой. Но, несмотря на это, – он повысил голос, – несмотря на это, противник уже потерпел неудачу. Ведь, согласно показаниям пленных немецких солдат и офицеров, Гитлер рассчитывал быть сегодня уже и в Москве, и в Ленинграде. И все как будто шло к этому. Тем не менее враг не в Москве и не в Ленинграде!

Шапошников ударил ладонями по столу и вскинул голову. Потом, подавляя волнение, взял со стола большую лупу, повертел ее в руке и уже обычным, ровным голосом продолжал:

– Сегодня взятие немцами Ленинграда, с точки зрения военной арифметики, казалось бы, можно считать неизбежным: они блокировали город и ведут артиллерийский обстрел улиц. Но бывает и так, – он подался вперед, к Кузнецову, – что ситуация, из которой, по элементарным расчетам, уже нет выхода, через несколько часов, через сутки меняется. Потому ли, что героизм обороняющихся превзошел все самые смелые ожидания, или что-то не сработало в военной машине врага... А флот, флот-то будет уже уничтожен!..

Некоторое время они оба молчали. Потом Кузнецов с плохо скрытым отчаянием в голосе сказал:

– Но ведь приказ... Приказ Верховного...

– Да, приказ... – повторил Шапошников и как-то весь обмяк. Он снял пенсне, протер его вынутым из кармана ослепительной белизны платком, снова надел и сказал уже твердо: – Тем не менее Верховный прав. Война есть война. Необходимо только принять все меры, чтобы приказ был приведен в исполнение лишь в том случае, если уж...

Он не закончил свою и без того ясную мысль и решительно, как бы отменяя все сомнения, предложил:

– Давайте сочинять телеграмму.

Вырвал листок из лежащего на краю стола большого блокнота и протянул его Кузнецову.

Когда текст был написан, Кузнецов спросил:

– Чью подпись ставить первой? Вашу? Мою?

Но Шапошников взял листок и долго, как показалось Кузнецову, очень долго держал его перед глазами. Потом положил бумагу на стол и тихо, но твердо ответил:

– Верховного главнокомандующего.

– Но... но как же... – недоуменно начал было Кузнецов.

Но Шапошников прервал его:

– Надо снова обратиться к нему. Убедить, что только его подпись заставит всех, от кого зависит выполнение этого приказа, действовать с особой ответственностью и... осмотрительностью.

– Вы же понимаете, – уже горячась, воскликнул Кузнецов, – что я не могу снова...

– Да... понимаю, – сказал Шапошников. И решительным движением снял трубку одного из телефонов.

... Через десять минут они были у Сталина.

Маршал мягко, но настойчиво излагал аргументы, которые понуждают и его, Шапошникова, и Кузнецова просить, чтобы товарищ Сталин сам подписал приказ.

Листок с текстом телеграммы одиноко лежал на столе, резко выделяясь на фоне зеленого сукна.

Выслушав Шапошникова, Сталин долго молчал. Потом произнес только одно слово:

– Хорошо.

И Шапошников и Кузнецов ждали, что Сталин сейчас подпишет телеграмму. Но он, бросив еще раз взгляд на лежащий на столе листок, посмотрел на часы, потом сделал несколько шагов по комнате и, возвращаясь обратно, проходя мимо стоящих в напряженном ожидании Шапошникова и Кузнецова, негромко сказал:

– Оставьте текст у меня.

3

Ворошилов долго смотрел на врученную ему Жуковым записку. Гораздо дольше, чем требовалось для того, чтобы прочитать девять написанных синим карандашом слов:

«Передайте командование фронтом Жукову, а сами немедленно вылетайте в Москву. И. Сталин».

Затем, не глядя на сидящего рядом Жданова, передал записку ему, как-то недоуменно, точно ожидая ответа на невысказанный вопрос, медленно обвел взглядом присутствующих и наконец сказал:

– Товарищи, к нам прибыл... новый командующий Ленинградским фронтом генерал армии Жуков.

Ворошилов сконцентрировал всю свою волю, чтобы произнести эти слова спокойно, чисто информационно, не вкладывая в них никаких эмоций.

Тем не менее в середине фразы голос его чуть заметно дрогнул.

Осуждая себя за проявленную слабость, Ворошилов уже твердым, требовательным голосом приказал:

– Стул командующему!

С той минуты, как дверь в кабинет Ворошилова столь внезапно открылась и в комнату мерной, тяжелой походкой, чуть поскрипывая сапогами, вошел Жуков, а двое других появившихся вместе с ним генералов остались стоять у двери, здесь воцарилась тишина.

Сидящие в два ряда за длинным, узким, заваленным картами, блокнотами и планшетами столом члены Военного совета фронта и вызванные на это заседание руководящие работники штаба и политуправления, секретари райкомов, директора крупнейших ленинградских предприятий с явным недоумением следили за происходящим.

Когда Ворошилов после столь продолжительного молчания объявил наконец, что назначен новый командующий фронтом, тишина в комнате стала еще более напряженной.

Участники заседания были ошеломлены услышанным и еще не могли определить своего внутреннего отношения к тому, что произошло. Кое-кто из них попытался незаметно взглянуть на Жданова, чтобы понять, как он относится к столь неожиданному для всех событию, но Жданов сидел неподвижно, опустив глаза.

Отрывистое приказание Ворошилова: «Стул командующему!» – как бы вывело людей из оцепенения. Они задвигались на своих местах, кто-то из работников штаба вскочил, кинулся к стоящим у стены свободным стульям и, схватив один из них, торопливо перенес к Жукову.

– Садитесь, Георгий Константинович, – пригласил Ворошилов, резким движением отодвигая свой стул в сторону и тем самым как бы предлагая Жукову занять место во главе стола.

Но Жуков, точно не замечая этого, сказал, указывая на все еще стоящих у двери военных:

– Генералы Федюнинский и Хозин прибыли со мной. Садитесь, товарищи генералы.

Лишь после этого он опустил на стул, медленным, пристальным взглядом обвел присутствующих и, ни к кому в отдельности не обращаясь, сухо спросил:

– Какой вопрос обсуждает Военный совет?

Сидящий за спиной Жданова Васнецов, чуть подавшись вперед, ответил:

– В данный момент – мероприятия по минированию основных военно-промышленных объектов города.

Жуков, видимо, ожидал ответа от Ворошилова. Он повернул голову к Васнецову и, глядя на него исподлобья, проговорил:

– На предмет?..

На этот раз ответил Жданов. Едва заметно пожав плечами, он сказал:

– На случай чрезвычайных обстоятельств, Георгий Константинович! Враг, как известно, у ворот города.

– Вот именно, Андрей Александрович, – медленно, взвешивая каждое слово, произнес Жуков. – Предлагаю вопрос с повестки дня снять, заседание Военного совета пока прервать. Мне необходимо более детально ознакомиться с обстановкой. – И добавил, как бы выполняя необходимую формальность: – Не возражаете, Андрей Александрович?

Жданов молча кивнул.

– Приглашенные товарищи свободны, – объявил Жуков. – Членов Военного совета и начальника управления связи прошу остаться. Командующим родами войск быть на своих местах, скоро буду вызывать. Все.

Когда дверь за последним из покинувших комнату закрылась, Жуков обратился к начальнику штаба:

– Где оперативная и разведывательная карты?

Полковник Городецкий вскочил с места. Пожалуй, из всех присутствующих здесь руководителей Городецкий чувствовал себя наименее уверенно: за последние недели он был третьим по счету командиром, исполнявшим обязанности начальника штаба.

Торопливо раздвинув лежащие на столе карты, Городецкий нашел нужные и положил перед Жуковым.

Генерал склонился над ними, всматриваясь в изогнутые, жирно прочерченные синие стрелы, показывающие направление начавшегося позавчера наступления немцев в районе Колпина. Другие, нанесенные только что, перед началом заседания, отметки свидетельствовали о том, что на юго-западе от города противник находится уже в Красном Селе и ведет бои за Урицк и поселок Володарский – фактически в предместьях Ленинграда.

Наконец Жуков поднял голову, выпрямился и, обращаясь к молча сидевшему Ворошилову, сказал:

– У нас, Климент Ефремович, нет времени на излишние формальности. Военный совет налицо. Давайте закончим.

С этими словами он взял один из лежащих на столе карандашей и размашисто написал на углах оперативной и разведывательной карт: «Командование фронтом принял». Поставил дату, подписался и подвинул карты Ворошилову.

Какое-то мгновение маршал смотрел на карты, казалось, не понимая, что от него требуется, затем взял карандаш и поспешно, с чрезмерным нажимом написал: «Командование фронтом сдал. К. Ворошилов».

– Если члены Военного совета согласны, – сказал Жуков, обращаясь к Жданову, – мы продолжим заседание... – он взглянул на часы, – скажем, в двадцать три ноль-ноль.

– Но, товарищ командующий, – неуверенно произнес Городецкий, – положение крайне напряженное. По только что полученным данным, противник пытается прорваться в Стрельну. Не будет ли правильнее немедленно разъехаться по частям?..

– Когда надо будет – поедем, – оборвал его Жуков, – а пока метание по армиям и частям прекратить!

Затем обвел взглядом присутствующих и спросил:

– Кто начальник управления связи?

– Я, – ответил, вставая и вытягиваясь, широкоплечий, кряжистый, с седеющими, коротко остриженными волосами военный. – Генерал-майор Ковалев.

– Где переговорный пункт?

– В подвальном помещении, товарищ командующий.

– Ведите.

И первым направился к двери.

В кровопролитных боях Великой Отечественной войны выдвинулась новая плеяда блестящих советских полководцев. Это произошло не сразу. Имена, которые в ходе войны приобрели всемирную славу, в первые дни, недели и даже месяцы великой битвы были известны лишь относительно узкому кругу руководящих деятелей Ставки и Генерального штаба.

Происходил вначале незаметный процесс смены военных поколений. В первый период Отечественной войны многие решающие, ключевые посты в Красной Армии занимали полководцы времен Гражданской войны. Но в ходе сражений становилось ясно, что не они, обладатели заслуженно громких боевых имен, поведут армию в долгожданное, решающее наступление.

В огне битвы выковывались новые командные кадры. Пока еще будущие маршалы воевали во главе бригад, дивизий, корпусов. Еще отступали вместе со своими частями, руководя обороной со своих КП, нередко выдвинутых чуть ли не в боевые порядки ведущих тяжелые бои войск. Под их командованием советские бойцы рвали удавные кольца окружений, учились не бояться мчащихся прямо на окоп танков, не впадать в панику, обнаружив у себя в тылу вражеский десант, учились контратаковать, отбивая захваченные врагом населенные пункты, обозначенные лишь на крупномасштабных картах.

Это были люди и молодые и средних лет, некоторым из них довелось участвовать в Первой мировой и Гражданской войнах, но как военачальники большого масштаба, как стратеги и тактики, как военные мыслители и мастера ведения современного боя они сформировались именно в ходе этой, ни с какой другой в истории войн не сравнимой гигантской битвы.

Всех их отличали большой полководческий талант, современный уровень военного мышления и личная смелость, всех их воспитала партия коммунистов, верными сынами которой они являлись.

И среди этих военачальников раньше других выдвинулся Георгий Константинович Жуков. Он начал свой боевой путь рядовым кавалеристом еще во время Первой мировой войны, участвовал в войне Гражданской, а затем отличился в боях на Халхин-Голе и, пожалуй, одним из первых представителей новых командных кадров привлек к себе поощрительное внимание Сталина. В самый канун войны он занимал высокую должность начальника Генерального штаба Красной Армии.

Поэтому не случайно, что, когда положение Ленинграда стало в сентябре 1941 года катастрофическим, Сталин, который так недавно проявил к Жукову явную несправедливость, сняв его с поста начальника Генерального штаба и направив на Резервный фронт, вызвал генерала в Москву и приказал ему вступить в командование Ленинградским фронтом.

Думал ли Сталин о том, что принимает это решение слишком поздно? Верил ли, что войскам под командованием Жукова удастся остановить врага, находящегося уже близ ленинградских окраин?..

Так или иначе, приказывая Жукову срочно вылететь в Ленинград, он сказал с горечью:

– Ленинград в крайне тяжелом положении. Или сумеете остановить врага, или погибнете вместе с другими. Третьего не дано.

По широкому коридору Смольного начальник управления связи фронта шагал впереди, указывая дорогу идущим несколько поодаль Жукову и Ворошилову.

Встречавшиеся на пути военные торопливо уступали им дорогу, прижимаясь к стенам, застыли в положении «смирно».

Жуков ступал тяжело и вместе с тем слегка раскачиваясь, что выдавало в нем бывшего кавалериста, шел молча, не глядя по сторонам и не отвечая на приветствия. Ворошилов – на полшага сзади, несколько по-стариковски, что не было свойственно ему ранее, шаркая подошвами по каменному полу.

О чем думал сейчас маршал, понимая, что в последний раз идет по этому коридору? Может быть, те девять коротких, беспощадных слов Сталина все еще стучали в его висках?

Может быть, перед глазами Ворошилова в эти мгновения проходила вся его жизнь? Может быть, он мучительно старался понять, какие все-таки совершил ошибки, в результате которых врагу удалось подойти почти вплотную к Ленинграду? Может быть, упрекал себя за то, что еще раньше сам прямо и честно не сказал Сталину, что не в силах выполнить возложенную на него трудную задачу?..

Всю жизнь привыкший оценивать деятельность людей не просто по количеству затраченных ими усилий, но прежде всего по конечным результатам, Ворошилов не искал оправданий и теперь, когда дело касалось его самого, не искал утешений в том, что и другим командующим фронтами – Тимошенко и Буденному – тоже не удалось остановить врага и погнать его вспять...

По узкой, тускло освещенной лестнице они спустились в подвальное помещение. Ковалев открыл обитую железными листами дверь и сделал шаг в сторону, пропуская вперед Жукова и Ворошилова.

Жуков вошел первым и, бросив беглый взгляд на телеграфистов, склонившихся над расположенными вдоль стен аппаратами, спросил вошедшего следом за ними Ковалева:

– Где связь со Ставкой?

– Сюда, товарищ командующий, – поспешно выдвигаясь вперед и указывая в дальний конец комнаты, ответил Ковалев.

Сидящий за аппаратом «Бодо» младший лейтенант вскочил и, вытянувшись, начал было рапортовать, обращаясь к маршалу.

– Связь со Ставкой имеется? – резко прервал его Жуков.

– Так точно, товарищ... товарищ генерал армии, – несколько растерянно ответил телеграфист, всматриваясь в петлицы незнакомого ему генерала.

– Вызывайте! – приказал Жуков. Его строгий взгляд как бы придавливал младшего лейтенанта, заставляя того снова сесть. Телеграфист опустил на табуретку, включил аппарат.

– Передавайте, – сказал Жуков. – У аппарата Жуков. Прошу доложить товарищу Сталину.

Он произнес это спокойно, даже холодно, без всякой аффектации, но слова его заставили всех находящихся в этой просторной комнате на мгновение повернуть к нему головы.

Младший лейтенант начал выстукивать текст на клавиатуре. Затем остановился и вопросительно посмотрел на Жукова.

– Передавайте, – приказал генерал телеграфисту. – В командование фронтом вступил. Точка. Жуков. У меня все, – сказал он и вопросительно взглянул на Ворошилова, как бы спрашивая, намерен ли тот передать что-либо от себя.

Ворошилов как-то нерешительно приблизился к аппарату, несколько мгновений невидящими глазами смотрел на пальцы телеграфиста, потом, точно очнувшись, махнул рукой и, ни на кого не глядя, направился к выходу.

Вскоре в кабинете Ворошилова, который ему надлежало покинуть, собрались приглашенные маршалом старшие штабные командиры и руководители родов войск Ленфронта, находившиеся в это время в Смольном.

Стоя у письменного стола с наполовину выдвинутыми и уже пустыми ящиками – адъютанты маршала очистили их от бумаг, – Ворошилов кивком головы отвечал на уставное «Разрешите?», с которым обращались командиры, один за другим входившие в комнату.

Почти все они присутствовали на заседании Военного совета, все знали о происшедшем изменении в руководстве фронтом. И, как всегда бывает в подобных случаях, в сознании каждого занимавшего ту или иную командную должность в штабе невольно возникала мысль и о своей собственной дальнейшей судьбе.

Однако сейчас, глядя на молча стоявшего у стола Ворошилова, никто из присутствующих – ни начальник штаба полковник Городецкий, ни его заместители, ни командующие родами войск – не думал о себе. Они думали о маршале.

У командиров, которые собрались здесь, в иное время могло бы найтись немало критических замечаний, касающихся стиля его работы. Многие из них сознавали, что Ворошилов находится во власти устарелых представлений о методах руководства войсками. Нередко про себя они осуждали маршала за недостаточную внутреннюю организованность, за беспорядочное подчас метание по воинским частям, склонность к длительным совещаниям и частым «накачкам».

Но в эти тяжелые минуты расставания люди думали о другом: о беззаветной личной храбрости маршала, о его простоте в обращении с подчиненными, о выдающейся роли Ворошилова в Гражданской войне, в которой почти все из присутствующих здесь командиров тоже участвовали.

Они сознавали, что если маршал и виноват в том, что не сумел задержать врага хотя бы на дальних подступах к Ленинграду, то в том же самом виновны и они...

Ворошилов по-прежнему недвижимо стоял у стола, пристально глядя на то и дело открывающуюся дверь, на как-то нерешительно переступающих порог командиров, и ему хотелось, чтобы в комнату входили все новые и новые люди, тем самым отдаляя момент окончательного прощания.

Последним вошел полковник Королев.

Ворошилов понял, что больше ждать некого, – все, кого он пригласил, уже в сборе, и теперь он должен произнести столь трудные для него слова.

Возвращаясь с узла связи сюда, в фактически уже не принадлежащий ему кабинет, Ворошилов старался подготовиться к этому последнему разговору, найти такие слова, которые бы помогли сосредоточить все внимание тех, кого он теперь вынужден был покинуть, на неотложных задачах, стоящих перед фронтом, подняли бы в них бодрость духа, укрепили веру в победу.

Он хотел подчеркнуть справедливость решения Верховного главнокомандующего, продиктованного заботой о судьбе Ленинграда, – именно так объяснить назначение Жукова, которого и сам он, Ворошилов, ценил и уважал. И маршалу казалось, что он нашел спокойные, твердые, далекие от какой-либо личной обиды слова и готов их произнести.

Но теперь, когда он смотрел на отводящих глаза, переминающихся с ноги на ногу командиров, со многими из которых успел побывать под вражескими пулями, под бомбежками и артиллерийским обстрелом, на людей, в которых верил и которые верили ему, – подготовленные слова забылись. Сознание, что он покидает Ленинград, так и не выполнив возложенной на него партией, Сталиным задачи, что покидает город в то время, когда враг стоит у стен, что ему не суждено умереть в рукопашной схватке, если немцы проникнут на ленинградские улицы, – это горькое сознание потрясло Ворошилова. Он медленно оглядел стены своего кабинета – портреты Ленина и Сталина, полуприкрытую шторкой большую карту, выдвинутые пустые ящики письменного стола и, снова переведя взгляд на столпившихся посредине комнаты людей, тихо сказал, чуть разведя руками:

– Ну вот... до свидания, товарищи!.. Отзывает меня Верховный...

Эти слова стоили Ворошилову огромных усилий. Он произнес их как бы про себя, точно только сейчас полностью отдав себе отчет в случившемся.

– Что ж... наверное, так мне, старому, и надо... – глухо продолжал маршал. – Это не Гражданская война. Эту войну надо вести иначе... совсем иначе.

Голос Ворошилова дрогнул, и он снова умолк.

Но в тот момент, когда присутствующим здесь людям показалось, что маршал уже не в состоянии произнести больше ни слова, в нем внезапно произошла зримая перемена. Вороши-

лов вдруг резко выпрямился. Казалось, каждый мускул напрягся в нем до предела. Он поднял голову и неожиданно звонким, молодым голосом воскликнул:

– И все же мы расколотим фашистов, товарищи! Найдут они свою могилу под Ленинградом, найдут, сволочи!

Несколько мгновений он так и стоял, вытянувшись во весь свой небольшой рост и держа перед грудью сжатые кулаки, потом медленно разжал пальцы, опустил руки и уже чуть слышно сказал:

– Прощайте!

И медленно стал обходить командиров, каждому крепко пожимая руку.

Затем первым вышел из кабинета.

Часом позже самолет, имея на борту маршала Ворошилова и группу прибывших с ним генералов, поднялся в воздух с окутанного вечерним сумраком аэродрома...

В одиннадцатом часу вечера в кабинет Жданова торопливо вошел член Военного совета адмирал Исаков. Он был очень взволнован.

– Андрей Александрович, – сказал он, поздоровавшись, – адмирал Трибуц просил меня немедленно связаться с вами и доложить... сам он в настоящее время в Кронштадте и не может прибыть в Ленинград, потому что занят выполнением срочного задания...

Жданов слушал молча. Он знал, что именно так взволновало этого обычно спокойного человека, знал, почему адмирал, как правило, четкий и лаконичный в своих докладах, сейчас явно не находит слов, чтобы высказать то, что привело его сюда.

Исаков вытер платком капли пота на лбу, пригладил разделенные пробором волосы и, беря себя в руки, стараясь говорить спокойно, продолжал:

– Час тому назад прибыл из Москвы заместитель наркома внутренних дел. Он передал приказ Ставки срочно составить план минирования каждого корабля, форта, склада. К подготовке приказано приступить немедленно...

Адмирал умолк, ожидая, что скажет на это Жданов.

Но Жданов по-прежнему молчал. Он сидел нахмурившись, почти сдвинув брови на переносице. Его нездоровое, серого цвета лицо стало почти землистым. Только острые карие глаза, над которыми набухли веки, глядели пристально и зорко.

– Андрей Александрович, – уже несколько повышая голос, снова заговорил Исаков, – нам известно положение, сложившееся под Ленинградом... Но неужели... неужели вы считаете его настолько безнадежным? Ведь речь идет о судьбе целого флота! Я обращаюсь к вам сейчас не только как к члену Военного совета... Вы как секретарь ЦК курировали флотские дела.

– Иван Степанович, – негромко и как-то отчужденно проговорил наконец Жданов, – о приказе товарища Сталина мне уже известно. Смысл этого приказа заключается в том, что ни один корабль, ни один склад с имуществом, ни одна пушка не должны достаться врагу. Вы знаете, такова общая директива Центрального Комитета партии относительно любого района, находящегося под угрозой вражеского вторжения. Ни один завод, ни одна шахта, ни один пуд хлеба! Нам трудно и горько уничтожать то, что было создано огромными усилиями партии и народа. Но если вопрос встанет так – отдавать ли это врагу или уничтожить собственными руками, то ни малейших колебаний не должно и не может быть. Выполняйте приказ.

– Андрей Александрович! – волнуясь сказал Исаков. – Балтфлот, несмотря ни на что, – это грозная действующая сила! Враг находится в пределах досягаемости огня нашей артиллерии! Кроме того, мы сейчас формируем подразделения морской пехоты, весь флот, все – от адмирала до матроса – нацелены лишь на одно: на активные боевые действия против врага! Именно в этом мы видим свою главную задачу!

– Именно такой она и остается, – твердо сказал Жданов. – О приказе Ставки должно знать весьма ограниченное число людей: командование флота и непосредственные исполнители. Только они!

Исаков медленно поднялся. Встал со своего кресла и Жданов. Адмирал молчал, точно в нерешительности, потом медленно проговорил:

– Андрей Александрович... последний вопрос... я хочу спросить вас... как коммунист коммуниста... когда, вы полагаете, может поступить приказ?.. Словом, когда... – Он не договорил и лишь резко махнул рукой, точно подрубая что-то.

И вдруг увидел, как мгновенно изменилось лицо Жданова. На его землистого цвета щеках вспыхнул слабый румянец.

– Вы спрашиваете меня как коммунист коммуниста?.. – повторил Жданов. – Когда?.. – И, подчиняясь неудержимому внутреннему порыву, громко воскликнул: – Никогда!

Несколько мгновений длилось молчание. Потом Жданов сказал уже спокойно и строго:

– А приказ выполняйте в точности, как того требует Ставка.

Он посмотрел на часы. Было без десяти одиннадцать.

– Сейчас начнется заседание Военного совета фронта, – сказал Жданов. – Поскольку Трибуца нет, вам надо обязательно присутствовать. Идемте.

4

– Докладывайте! – приказал Жуков начальнику штаба полковнику Городецкому.

То был безрадостный, тяжелый доклад. Части недавно сформированной 42-й армии, которая, соседствуя с другой армией, 55-й, защищала Ленинград с юга, после изнурительных боев оставили Красногвардейск и отошли на Пулковский оборонительный рубеж. Таким образом, на Южном направлении враг почти вплотную подошел к Ленинграду и завязал наступательные бои на юго-западных склонах Пулковских высот. Положение осложнялось тем, что основными силами в этом районе были части народного ополчения. В помощь им под Урицк спешно перебросили 21-ю дивизию войск НКВД. Но этого было явно недостаточно.

Итак, на юге считанные километры отделяли немцев от Ленинграда. Северо-западнее они рвались к Петергофу и Стрельне. На севере, пересекая весь Карельский перешеек, над Ленинградом нависал фронт финской армии. На западе враг оккупировал уже всю Прибалтику. На востоке лишь через Ладожское озеро Ленинград имел еще связь с остальной советской землей, которую вот уже несколько дней здесь, в городе, подобно зимовщикам, некогда дрейфовавшим на полярной льдине, стали называть «Большой землей». Да и на Ладоге только километров пятьдесят юго-западного берега озера да километров сто тридцать – сто пятьдесят юго-восточного не были еще заняты врагом. Фактически же противник, имея превосходство в авиации, контролировал почти все Ладожское озеро и большую часть прибрежной территории.

Обо всем этом и докладывал сейчас полковник Городецкий. Ему хотелось, чтобы Жуков не только получил исчерпывающие сведения о положении под Ленинградом, но и понял, что он, Городецкий, не несет, не может нести личной ответственности за создавшуюся ситуацию, поскольку занимает должность начальника штаба всего несколько дней. Но при этом полковник сознавал, что его личная судьба меньше всего занимает сейчас нового командующего фронтом.

В то время как Городецкий, обращаясь главным образом к Жукову, указывал на разостланной перед ним карте наиболее уязвимые участки фронта, дверь в кабинет неожиданно отворилась и в комнату поспешно вошел полковник Королев. Торопливо окинув взглядом присутствующих, точно решая, к кому из них следует обратиться, он подошел к сидевшему рядом со Ждановым Васнецову и, склонившись к нему, прошептал несколько слов.

Васнецов отпрянул, точно его неожиданно толкнули, потом потянул за рукав Жданова...

Казалось, что Жуков ничего этого не замечает. И начальник штаба продолжал свой доклад, поскольку командующий внимательно слушал его, не отрывая глаз от карты. Но когда Васнецов стал что-то тихо говорить на ухо Жданову, Жуков повернул голову и, глядя не на них, а на стоящего за ними встревоженного Королева, резко спросил:

– Кто такой?

Королев растерянно молчал. Он присутствовал на заседании Военного совета, когда появился Жуков, и потом, совсем недавно, в числе других руководящих работников штаба представлялся ему.

– Я спрашиваю, кто вы такой и почему являетесь без разрешения?! – повторил Жуков.

Вытягиваясь и опуская руки по швам, Королев громко ответил:

– Полковник Королев из оперативного отдела штаба.

Затем сделал шаг вперед и уже несколько тише сказал:

– Товарищ командующий! Только что получено сообщение: немцы прорвались в район Кировского завода.

На всех, кто находился сейчас в этой комнате, его слова подействовали ошеломляюще.

На всех, но, очевидно, кроме Жукова.

Не вставая, не меняя положения и глядя на Королева исподлобья изучающе пристальным взглядом, он недовольно спросил:

– Какие еще немцы?

– Я... я не знаю, – растерянно ответил Королев, – только что по телефону сообщили, и я решил, что...

– Кто сообщил? – прервал его Жуков.

«К чему он задает эти ненужные вопросы?!» – подумал Королев. На какое-то мгновение он представил себе, как в этой ситуации поступил бы Ворошилов. Скорее всего, немедленно закрыл бы заседание, бросился в машину и... Но, может быть, подумал Королев, до нового командующего просто не дошел страшный смысл полученного сообщения?..

– Вы что, оглохли, полковник? – повысил голос Жуков.

– Товарищ командующий! – овладевая собой, проговорил Королев. – На проводе майор Сидоров, командир истребительного батальона, расположенного в районе Кировского завода. Он утверждает, что немцы...

– Какими силами?

– Не могу знать, – ответил Королев, уже сознавая, что ответ его звучит нелепо, – я счел необходимым, не тратя времени, немедленно доложить!.. А комбату приказал ждать у телефона дальнейших распоряжений.

– Начальник связи, – круто поворачиваясь к сидевшему в конце стола Ковалеву, сказал Жуков, – переключите этого паникера сюда.

Он кивнул на телефоны, стоящие на письменном столе.

Ковалев поспешно вышел, точнее, выбежал из кабинета.

Потрясенному сообщением Королева Жданову тоже пришла в голову мысль, что Жуков плохо представляет себе, где расположен Кировский завод, не знает, что он находится в самом городе, на улице Стачек!..

– Георгий Константинович, – сказал Жданов, – может быть, все же необходимо немедленно выехать?..

В этот момент Ковалев с порога доложил:

– Майор Сидоров на проводе, товарищ командующий!

Жуков встал точно нехотя и пошел к телефонам. Ковалев опередил его, рывком снял трубку одного из аппаратов и протянул ее командующему.

Тот не спеша поднес трубку к уху и, слегка растягивая слова, проговорил:

– Слушай, ты, паникер! Кто у тебя там появился?.. Я тебя не спрашиваю, немцы или турки! Я спрашиваю, какими силами? Докладывай только то, что видел сам, понял?!

В напряженной тишине Жуков слушал ответ майора. Все, кто был в комнате, неотрывно следили за выражением лица командующего. Они видели, как медленно кривились в жесткой усмешке его губы.

Наконец Жуков заговорил, отчетливо выговаривая каждое слово и время от времени умолкая, чтобы выслушать ответ:

– Ты чем командуешь? Детским садом или истребительным батальоном?.. А раз истребительным, так истребляй! И к тому же сам их не видел!.. Теперь слушай. Если хоть один немец на твоем участке прорвется, хоть на танке, хоть на мотоцикле, хоть на палке верхом, в трибунал пойдешь! Под суд, говорю, отдам, понял?!

И он бросил трубку на рычаг. Затем тяжелым, размашистым шагом вернулся на свое место и, опустившись на стул, сказал:

– Сам ничего толком не знает... Комвзвода ему, видите ли, доложил, что откуда-то с запада по направлению к Кировскому танки идут. Да и не танки, кажется, а танк, а может, и танкетка!.. Паникер!

Он посмотрел на все еще неподвижно стоящего Королева и, обращаясь уже к нему, продолжал:

– Еще раз с паническим сообщением ворветесь – разжалую. А теперь поезжайте в район Кировского. Через сорок минут доложите по телефону, что там за немцы такие появились. Да не мне доложите, адъютанту!

– Слушаю, товарищ командующий! – мгновенно и почти на бегу откликнулся Королев, сам удивляясь, почему ответ его прозвучал так бодро и даже радостно.

Повернувшись к начальнику штаба, Жуков бросил:

– Докладывайте дальше!

И снова склонился над картой.

Доклад продолжался. Начальник штаба говорил теперь о том, что, по самым последним сведениям, противнику удалось частично овладеть Урицком...

Жуков молчал, насупившись. Только два раза он прервал полковника, отрывисто бросая: «Короче!» И тогда Городецкому казалось, что командующий слушает его лишь для проформы.

Но начальник штаба был не прав. Просто Жукова интересовало в докладе главным образом то, чего он еще не знал сам.

А знал Жуков уже многое. Он недаром провел несколько часов в Оперативном и Разведывательном управлениях Генштаба, направившись туда прямо из кабинета Сталина. В Генштабе Жуков изучил положение дел не только под Ленинградом, но и на других фронтах – без этого невозможно было оценить потенциальные возможности немецкой группы армий «Север».

Не потратил Жуков зря и то время, которое прошло с момента, когда он по аппарату «Бодо» доложил Ставке о своем вступлении в новую должность.

И теперь он уже хорошо, почти зримо представлял себе всю картину сражения на подступах к Ленинграду и именно поэтому был уверен, что прорваться к Кировскому заводу могла, на самый худой конец, лишь какая-то шальная группа вражеских разведчиков, не представляющая серьезной опасности.

Жуков слушал доклад начальника штаба фронта и, казалось, уже забыл об эпизоде, который только что здесь произошел.

Но для большинства присутствующих он не прошел бесследно.

Им, успевшим привыкнуть к темпераментному, остро на все реагирующему Попову и к готовому в любую минуту мчаться на место боев Ворошилову, казалось, что Жуков проявил неоправданное легкомыслие, отмахнувшись от тревожного, нет, катастрофического сообщения!

Никто из находящихся здесь военных, естественно, не решился высказать свои мысли вслух. Молчали и Жданов и Васнецов, хотя им хотелось обратить внимание Жукова на опасность недооценки полученного сообщения, молчали, боясь уронить авторитет нового командующего, присланного Сталиным при таких чрезвычайных обстоятельствах.

Но Жуков, казалось, не ощущал стеснившейся атмосферы. Его, видимо, совершенно не интересовало, что думают о нем эти застывшие в молчании люди.

Полковник окончил свой доклад. Жуков продолжал сосредоточенно смотреть на карту. Потом, не поднимая головы, негромко сказал:

– Дайте точную справку, какие силы действуют на участке Урицк – Красное Село. Сколько, по вашим данным, там у нас артиллерии?

Все так же не поднимая головы, выслушал ответы начштаба и командующего артиллерией. Это были короткие, ясные ответы, – казалось, докладывающие успели перенять четкий стиль нового командующего фронтом.

– Из всего следует, – сказал, как бы подводя итог, Жуков, – что противник концентрирует свои силы здесь, между Ропшей и Пулковом, – так? – Он быстрым движением очертил пальцем круг на разведывательной карте и вдруг взорвался: – Так какого же черта вы держите

одинаковую плотность войск по всему фронту? Немцы идут танковыми клиньями к Урицку и Пулковским высотам. Именно отсюда они рассчитывают прорваться в Ленинград. Здесь и должны быть сконцентрированы наши главные силы! Почему же до этого не додумались? Я спрашиваю: почему?!

Жуков обвел присутствующих гневным взглядом. Никто не заметил, как при этом он покосился на висящие на стене часы, и никто, разумеется, не знал, что про себя Жуков отметил: с момента ухода полковника Королева прошло двадцать пять минут.

У всех в ушах звучал резкий, как удар хлыста, вопрос: «Почему?!» И хотя вопрос этот не был адресован кому-либо конкретно, взгляды всех невольно обратились к Жданову. Никто и никогда не позволял себе разговаривать подобным образом в его присутствии.

Но Жданов молчал. Его измученное бессонными ночами лицо было бледным, губы были плотно сжаты. Чувствовалось, что это молчание стоит ему огромного внутреннего усилия.

Член Политбюро и секретарь ЦК, он остро ощущал свою личную ответственность за катастрофическое положение, сложившееся под Ленинградом. Поэтому его не мог не задеть резкий тон нового командующего, а последний вопрос Жукова звучал уже как прямой упрек руководству фронтом и в том числе ему, Жданову.

Разумеется, многое можно было бы ответить Жукову. И прежде всего сказать, что Военный совет не бездействовал, что все возможные подкрепления были в последние дни переброшены на юг...

Но факт оставался фактом: враг подошел к стенам Ленинграда.

И снова в ушах Жданова прозвучала гневная фраза Сталина по адресу Ворошилова и его, Жданова: «Специалисты по отступлению!...»

Жданов считал этот упрек несправедливым. Ведь Сталин не мог не знать о беззаветном героизме защитников Ленинграда, об их непреклонной решимости отстоять город. Но, как политик, как один из руководителей партии, Жданов сознавал, что в те минуты, когда Сталин диктовал эти горькие слова, одно было для него решающим: враг неумолимо приближается к Ленинграду...

Жданов понимал, что внезапная замена командующего вызвана именно сомнениями Сталина в способности нынешнего руководства отстоять город.

И горькое сознание этого заставило Жданова сдержаться, не реагировать на ту резкость, жесткость и непреклонную требовательность, которые звучали в каждом слове Жукова.

Однако увидев, что все взгляды обращены к нему, Жданов сдержанно сказал:

– Георгий Константинович, положение, которое отмечено у вас на карте, сложилось буквально в последние часы. Но тем не менее вы правы. Распределение войск сейчас уже не соответствует создавшейся обстановке.

Может быть, именно эта сдержанность и произвела определенное впечатление на Жукова, напомнив ему о высоком положении человека, сидящего по правую руку от него.

Снова бросив мгновенный взгляд на часы, он сказал подчеркнуто деловым тоном, на этот раз обращаясь уже непосредственно к Жданову:

– Наиболее уязвимый участок фронта сейчас обороняет сорок вторая армия. Так, Андрей Александрович?

Это «так?» и обращение по имени-отчеству было той данью уважения к Жданову, которое Жуков считал своим долгом провозгласить публично. Ради этого он и задал свой чисто риторический вопрос: всем присутствующим, включая самого Жукова, месторасположение этой армии было хорошо известно.

Жданов молча кивнул.

– Следовательно, – продолжал Жуков, – надо...

Он не договорил. Дверь в кабинет открылась, и вошел адъютант Жукова. Торопливо подойдя к командующему, он начал говорить ему что-то на ухо.

– Громче! – передернул плечами Жуков. – Чего шепчешь, как парень девке!

Адъютант выпрямился, вытянул руки по швам и громко отрапортовал:

– Товарищ командующий! Полковник Королев докладывает по телефону: в районе Кировского завода противника не обнаружено. Небольшая группа разведчиков-мотоциклистов просочилась в район больницы Фореля, то есть несколькими километрами южнее Кировского. Но к приезду полковника Королева их уже уничтожили.

Он умолк, продолжая стоять в положении «смирно».

– Ладно, – бросил Жуков. – Не мешай. Иди.

И, подчеркнуто не обращая внимания на то, с каким явным облегчением выслушали присутствующие сообщение адъютанта, без всякого перехода продолжил начатую фразу:

– ...следовательно, надо менять разгранлинии между сорок второй и пятьдесят пятой армиями. Сорок вторая обороняет Пулковское и Урицкое направления, на сегодня – главные. Поэтому приказываю... – он выждал мгновение, пока начальник штаба схватил карандаш, – ...изменить разгранлинии между этими армиями, уплотнив фронт сорок второй. В этой связи немедленно передать в эту армию часть сил двадцать третьей. Ясно?

– Но, товарищ командующий, – неуверенно произнес начальник штаба, отрывая карандаш от блокнота, – этим мы ослабим оборону на Карельском перешейке, что, несомненно, рано или поздно установит разведка противника...

– Прекратите болтовню! – прервал его Жуков. – «Рано», «поздно»!.. Рядовому штабному оператору ясно, что в результате любой перегруппировки мы, оказавшись сильнее на одном участке, станем слабее на другом! Сегодня наиболее угрожаемым участком является Пулковско-Урицкий. Надо собрать основные силы и громить врага именно там!

В те минуты, пожалуй, никто из членов Военного совета не придал особого значения словам «громить врага». Не «сдерживать», не «обороняться», не «преградить путь врагу», а именно «громить»! Однако сейчас вряд ли кто-нибудь уловил разницу: все внимание людей было сосредоточено на практической стороне поставленной Жуковым задачи.

Некоторые из присутствующих переглянулись. Их взгляды как бы говорили: что ж, развить тут нечего, предложение правильное.

Разумеется, в решении Жукова не было никакого откровения. В сложившейся обстановке любой опытный военачальник, поразмыслив, очевидно, предложил бы то же самое. Но то, что Жуков сделал немедленный практический вывод из создавшейся обстановки и поставил задачу перегруппировки сил в столь ясной и категорической форме, и недавний эпизод, когда новый командующий проявил предельное хладнокровие и в конечном итоге оказался прав, – все это, вместе взятое, не могло не вызвать молчаливого одобрения присутствующих.

Обращаясь к начальнику штаба, Жуков сказал:

– Приказ о перегруппировке отдать немедленно. Предупредить командующих армиями, что за точное исполнение отвечают головой.

Затем повернулся к адмиралу Исакову и спросил:

– Где Трибуц?

– Командующего флотом вызвал прибывший из Москвы со срочным заданием заместитель наркома внутренних дел, – ответил, вставая, Исаков. – Вам, очевидно, известно, по какому вопросу.

– Мне известно. И тем не менее передайте командующему, – отдельно произнес Жуков, – что впредь он может не являться на заседания Военного совета только с моего разрешения. И вступать в переговоры с... любыми замнарками – лишь после того, как они представятся мне. Что же касается срочного задания, то оно у Балтфлота сейчас одно: сосредоточить огонь всей артиллерии на скоплениях войск и техники врага на том участке, о котором только что шла речь, то есть в районе Красное Село – Пулково – Урицк. Весь огонь! И при этом чтобы своих не перебить, ясно?

И выжидательно посмотрел на Исакова:

– Чего же вы ждете? Надеюсь, телефонная связь с Кронштадтом в исправности?

Адмирал вышел из-за стола и поспешно направился к двери.

А Жуков уже перешел к следующему вопросу.

– Какова глубина эшелонирования войск? – спросил он, глядя на Городецкого. И нетерпеливо повторил: – Начальник штаба, я спрашиваю, какова глубина эшелонирования в сторону города на уязвимых направлениях? Что вы намерены делать, если противнику все же удастся прорваться через тот же Урицк или Пулковое?

– Войска имеют приказ «Ни шагу назад!», – несколько неуверенно ответил начальник штаба, – и, кроме того, мы...

– Ваши приказы мне известны, – прервал его Жуков. – Как, впрочем, и то, что они не выполняются. Я спрашиваю, что будет, если немцы на самом деле попытаются прорваться к тому же Кировскому заводу? Не несколько мотоциклистов, а крупными силами?.. Впрочем, – он махнул рукой, – можете не отвечать. И без вас знаю, что глубина обороны ограничена зоной боев, а на окраинах города боевых порядков организованных войск, по существу, нет. Ваше счастье, что противник этого еще не проронюхал.

– Войска есть, но их действительно очень мало, – подал реплику Васнецов.

– Значит, по существу, нет, – отрезал Жуков.

Васнецову хотелось сказать Жукову прямо, в лицо, что ему не следует держать себя так, точно до него здесь никто ничего не делал. Он мог бы, ссылаясь на протокол заседания Военного совета и бюро обкома, на приказы бывших командующих – Попова и Ворошилова, доказать, что те вопросы, которые поднимает сейчас Жуков в такой резкой форме, так или иначе ставились и до него.

Но ничего этого Васнецов не сказал.

Что же заставило этого смелого и достаточно вспыльчивого человека подавить естественное чувство обиды? Только ли сознание дисциплины, только ли понимание, чьим высоким доверием облечен новый командующий?

Нет, не только это.

Хотя в распоряжениях Жукова не было ничего принципиально отличающегося от тех мероприятий, которые в соответствии с конкретной боевой обстановкой проводились и до него, Васнецов не мог не чувствовать, что звучали эти распоряжения как-то по-новому, с предельной ясностью, точностью и жесткой требовательностью. И, несмотря на категорический, иногда граничащий с оскорбительным тон, каким Жуков отдавал приказы, несмотря на это, а может быть, как ни странно, и благодаря этому, сам Васнецов начинал ощущать какое-то особое, новое чувство уверенности, сознание, что сейчас, в эти минуты, делается именно то единственно правильное, что надо делать в создавшейся обстановке.

Поэтому Васнецов не произнес ни одного из тех слов, которые готовы были сорваться у него с языка. Он встал и коротко, невольно подражая точной и лаконичной манере самого Жукова, доложил о тех мероприятиях, которые были проведены Военным советом и руководством Ленинградской партийной организации на случай прорыва врага непосредственно на городские окраины.

– Я знаю о большой работе, которая была проделана ленинградцами, – уже иным, уважительным тоном произнес Жуков.

Трудно сказать, сухой ли, объективный, без тени преувеличения доклад Васнецова или последняя фраза Жукова что-то изменили в атмосфере заседания. И хотя вряд ли кто-либо из присутствующих мог в те минуты отдать себе ясный отчет, в чем же заключалась эта перемена, тем не менее чувство уверенности и объединенности стало овладевать всеми.

– Мне известно, что именно вам, дивизионный комиссар, – обратился Жуков к Васнецову, – поручено общее наблюдение за строительством укрепленных районов. Поэтому вас я и

прошу принять необходимые меры по созданию глубоко эшелонированной инженерной обороны. И срочно! Противник, судя по всему, не собирается топтаться на месте.

– Георгий Константинович, – сказал молчавший до сих пор Жданов, – вы знаете, что обстановка на фронте в последние дни складывалась крайне неблагоприятно. Мы были вынуждены бросить в зону боев все наши скудные резервы, включая курсантов военных училищ, дивизии народного ополчения и истребительные батальоны. У нас просто не было времени и возможности для создания боевых порядков в глубине...

На мгновение Жданов умолк. Умолк потому, что понял: не Жукову пытается возразить он сейчас, а тому человеку, который послал сюда нового командующего...

И, отдав себе в этом отчет, он совсем уже другим тоном сказал:

– Впрочем, сейчас не время для оправданий.

Возможно, Жуков понял, что происходит в душе Жданова. Резко меняя тему разговора, он спросил:

– Как полагаете, Андрей Александрович, сколько орудийных стволов и танков можно сегодня получить на Кировском?

Опережая Жданова, Васнецов, быстро перелистав записную книжку, которую держал в руках, встал и назвал требуемые цифры.

– Забрать все для нужд Ленфронта, – коротко приказал Жуков. – Со Ставкой я договарюсь. – И, обращаясь к командиру корпуса ПВО, спросил: – Сколько зенитных орудий можете немедленно снять и передать в боевые порядки войск?

– Но, товарищ командующий! – протестующе воскликнул генерал. – Уже неделю подряд город подвергается ожесточенным налетам. Мы будем не в состоянии обеспечить противовоздушную оборону Ленинграда, если...

– Отвечайте на вопрос! – прервал его Жуков и добавил, обращаясь уже ко всем присутствующим: – Что толку оборонять город от авиации, если фашистские танки ворвутся на улицы?..

И, снова повернувшись к генералу, приказал:

– Через пятнадцать минут доложите, сколько орудий дадите и каких. Ясно?

– Так точно, товарищ командующий, – ответил тот. Он бросил взгляд на стенные часы и спросил: – Разрешите отлучиться?

– Идите. Через пятнадцать минут доложите мне лично. И последнее, – сказал Жуков, когда генерал вышел. – Предлагается полковника Городецкого от исполнения обязанностей начальника штаба освободить. Начальником штаба фронта назначить генерал-лейтенанта Хозина. Генерал Федюнинский пока будет моим заместителем. Возражений нет? Вопрос со Ставкой согласован. Объявляется перерыв на тридцать минут. За это время полковнику Городецкому сдать, а генералу Хозину принять дела. Остальным начать реализацию полученных приказаний.

И Жуков первым поднялся из-за стола...

5

В то утро Гитлера разбудил не его камердинер штурмбаннфюрер СС Гейнц Линге, который делал это всегда, а личный секретарь фюрера и глава партийной канцелярии Мартин Борман. И разбудил он его не в десять утра, как это обычно делал Линге, а часом раньше.

Люди, окружающие Гитлера, хорошо знали, что он страдает бессонницей, с трудом засыпает и дорожит утренним сном. Поэтому, когда Борман объявил Гейнцу Линге, что идет будить фюрера, об этом через несколько минут стало известно всем обитателям бункера.

Казалось бы, сам по себе этот факт не должен был восприниматься в ставке как чрезвычайное происшествие. Но дело в том, что любой поступок Бормана привлекал к себе настороженное внимание.

Тем, кто не знал этого человека близко, он мог показаться всего лишь скромным и преданным фюреру партийным функционером, равнодушным к чинам и наградам. Но пройдут годы, и престарелые генералы Третьего рейха и бывшие нацистские чиновники, пытаясь обелить себя, станут называть избежавшего нюрнбергской петли Бормана злым гением фюрера.

Этот крепко сколоченный человек с грубыми чертами лица, в свое время отбывший срок тюремного заключения за убийство, действительно не искал ни награды, ни иных почестей. Он не дорожил внешним блеском, зато жажда власти была у него поистине ненасытной.

В свое время бывший заместителем Гесса, Борман не просто занял освободившееся место главы партийной канцелярии. Он стал личным секретарем Гитлера и управляющим его домом в Бергхофе, попечителем любовницы фюрера Евы Браун, руководил приобретением картин для коллекции Гитлера, был при нем неизменно, постоянно, и, в какую бы сторону ни обращал свой взор фюрер, он всегда вблизи или в некотором отдалении видел молчаливого, но всегда готового к самым щекотливым услугам Бормана.

Этот замкнутый, немногословный человек был великим мастером интриг.

Геринг, боявшийся любого соперничества, всячески противился назначению Бормана на место руководителя партийной канцелярии, но потерпел поражение, и ему пришлось глубоко затаить свою ненависть к этому человеку, претендующему на роль первого, хоть и негласного советника фюрера.

Даже такой умный и опытный интриган, как Геббельс, побаивался Бормана, предпочитая не иметь его среди своих врагов.

И вот теперь, когда Борман, используя свое право личного секретаря фюрера, отстранив Гейнца Линге, сам направился в спальню Гитлера, каждому было ясно, что речь идет о каком-то сообщении чрезвычайной важности, причем сообщении, приятном для фюрера, – иное Борман не стал бы брать на себя.

Постучав, Борман открыл дверь и вошел. Гитлер еще спал: настоль ромашки, который он обычно выпивал, едва открыв глаза, стоял нетронутым на тумбочке рядом с кроватью.

Подойдя к изголовью и склонившись над ухом Гитлера, Борман негромко сказал:

– Мой фюрер! Санкт-Петербург окружен.

Этих тихо произнесенных слов оказалось достаточно, чтобы Гитлер сразу проснулся. Отшвырнув одеяло, свесив ноги и шаря ими по полу в поисках ночных туфель, он некоторое время сидел на кровати в ночной рубашке. И спросонья, все еще оглушенный принятой ночью большой дозой снотворного, тупо глядел на Бормана.

Наконец до него дошел смысл сказанного. Вскочив на ноги, Гитлер схватил Бормана за плечо и торопливо, голосом, в котором смешивались радостная надежда и боязнь ошибиться, спросил:

– Телеграмма от Лееба?

– Да, мой фюрер. И от Маннергейма тоже. Полчаса тому назад.

Борман сунул руку в карман френча и, вынув уже расшифрованную телеграмму фельд-маршала, протянул ее Гитлеру.

Гитлер схватил бланк, взглянул на него и крикнул:

– Очки!

Зрение Гитлера с каждым годом становилось все хуже, и, читая важные документы, в особенности напечатанные мелким шрифтом, он был вынужден пользоваться очками.

Гитлер ненавидел очки. Ему казалось, что они разрушают образ вождя и полководца. Поэтому в печать не проникало ни одной фотографии фюрера в очках. Поэтому же документы, специально предназначенные для Гитлера, печатались особым, крупным шрифтом.

Не дожидаясь, пока Борман подаст очки, Гитлер сам нетерпеливо схватил их с тумбочки, надел и впился глазами в телеграфный бланк.

В те минуты, когда он читал и перечитывал строки, из которых явствовало, что войска фон Лееба захватили Шлиссельбург и, таким образом, блокировали Ленинград с суши, Борман думал о том, как мало на свете людей, которым дано увидеть фюрера, великого фюрера, вот таким: в длинной, почти до пят, ночной рубашке, в шлепанцах, надетых на босу ногу, и в очках.

– А что сообщает Маннергейм? – отрывая наконец взгляд от телеграммы, спросил Гитлер.

– Его войска вышли к старой государственной границе, – торжественно произнес Борман.

Несколько конвульсивно-пляшущих движений Гитлера, в Компьенском лесу на фоне исторического вагона, в котором некогда представители Франции приняли капитуляцию Германии в Первой мировой войне, а 22 июня 1940 года признали свое поражение, стали известны всему миру, запечатленные кинокамерами. Очевидцем же восторженных прыжков, совершаемых сейчас фюрером, был только Борман. И он мог бы засвидетельствовать, что не видел Гитлера столь радостным, столь торжествующим ни тогда, когда был захвачен Минск, ни после взятия Смоленска. Он, Борман, хорошо понимал состояние Гитлера. Те, захваченные ранее города были просто населенными пунктами, пусть большими, важными, но все же только населенными пунктами на пути к недоступной пока Москве.

Петербург же был одной из основных военно-стратегических целей всей войны. Правда, по плану захватить его следовало еще в июле...

Гитлер величественно произнес:

– Оставь меня одного, Борман.

Ему захотелось наедине с самим собой насладиться радостью победы.

Когда Борман ушел, Гитлер еще и еще раз перечитал телеграмму. Потом снял очки, накинул халат и, насвистывая вальс из «Веселой вдовы», своей любимой оперетты, направился в ванную...

В то утро не было, пожалуй, на земле человека более счастливого и довольного собой, чем Гитлер. Все, что тревожило, угнетало его в последние полтора месяца, несмотря на в общем-то успешный ход войны: и затянувшееся, унесшее десятки тысяч жизней немецких солдат и офицеров сражение под Смоленском, и глухое сопротивление генералитета его приказу отложить решающее наступление на Москву, пока не будут захвачены Петербург и Украина, и потеря почти месяца впустую на Лужской оборонительной линии, – все это на фоне новой, решающей победы отходило на задний план, теряло свою остроту.

Даже столь самоуверенный, убежденный в своем сверхчеловеческом даре вождя и полководца человек, как Гитлер, не мог не понимать, что в этой войне он уже потерял не только огромное количество солдат, но и то, что было невозместимым, – время.

Можно было трубить на весь мир о ежедневных победах немецкой армии. Можно было подавлять воображение людей перечислением захваченных населенных пунктов и пройденных с боями сотен километров. Можно было произвольно увеличивать в сводках количество захваченных в плен солдат, офицеров и окруженных советских частей и соединений.

Но все это не могло заглушить роковой вопрос: кто же тогда преграждает его войскам путь к Ленинграду и Москве? Почему до сих пор, несмотря на то что уже наступил сентябрь, война, рассчитанная на шесть-восемь недель, не только не закончена, но еще не принесла ни одной действительно решающей победы?

Несмотря на маниакальную веру в обладание мистической силой, несмотря на злобное презрение к людям, Гитлер тайно страдал комплексом неполноценности. И причина заключалась отнюдь не в физическом недостатке, которым будут много лет спустя объяснять этот комплекс некоторые из буржуазных историков, основываясь на акте медицинского осмотра полубожего трупа Гитлера.

Причина крылась в другом.

Гитлер понимал, что многие из верно служащих ему генералов в душе презирают его.

Он был уверен, хотел быть уверенным, что использует этих людей как послушное орудие для достижения своих целей. Даже те из них, кто в прошлые годы находился в тайной оппозиции, теперь боялись его, льстили ему, служили не за страх, а за совесть, составляли вместе с ним единое целое. Но Гитлер понимал, что в глубине души они все же презирают его.

Остро ощущал он это в моменты неудач. Пусть тщательно скрываемых, маскируемых, но все же реальных неудач.

Главным, что не могло не волновать не только Гитлера, но и его генералов, был фактор времени: ведь вслед за уже наступающей осенью маячила страшная русская зима.

Гитлер мог сместить, разжаловать, арестовать, казнить, наконец, любого из своих генералов. Но он был не в силах остановить время...

Войска фон Лееба должны были захватить Петербург еще в июле. Непредвиденная стойкость обороняющихся здесь русских нарушила все планы Гитлера. Север сковывал почти треть всех его войск, танков и авиации, которые были так необходимы на Центральном, Московском направлении! Вот в чем заключалась главная проблема!

И теперь она наконец разрешилась. Петербург блокирован!..

А то, что окружение города предвещает его захват, не вызывало у Гитлера ни малейших сомнений.

Лежа в горячей ванне, закрыв глаза, он мысленно восстанавливал картины недавнего прошлого: на фоне этих воспоминаний победа под Петербургом выглядела еще более значительной, определяющей весь дальнейший ход войны.

Гитлер снова видел себя в Борисове, русском городишке, где месяц тому назад располагался штаб фон Бока – командующего группой армий «Центр». Туда он направился в начале августа, разъяренный неудачами на Центральном фронте.

Сухопарый, щеголяющий своей старопрусской военной выправкой, фельдмаршал стоял тогда у карты и докладывал обстановку на фронте. Прямо не высказанной, но вытекающей из всего, что он говорил, была мысль о том, что без серьезных подкреплений наступать дальше невозможно. На словах фон Бок жаждал наступления. Но в подтексте звучало другое: советские войска не разбиты, они не только не бегут в панике, несмотря на наносимые им удары, но пытаются переходить в контратаки. И не о дальнейшем наступлении надо думать сейчас, а о том, как удержать захваченную Ельню, как разгромить яростно сопротивляющуюся группировку советских войск в районе Смоленска.

Фон Бок говорил подчеркнуто бесстрастно, точно не замечая, как ярость постепенно наполняет все существо угрюмо молчащего фюрера.

Наконец Гитлер не выдержал и спросил с затаенной угрозой в голосе:

– Что вы в конце концов предлагаете, фон Бок?

После короткого раздумья фельдмаршал ответил:

– Если нельзя рассчитывать на крупные подкрепления... я имею в виду перегруппировку войск за счет группы «Север», то в сложившейся обстановке единственный выход – это занять прочные позиции и переждать русскую зиму.

Он произнес эти слова необычным для него, вкрадчивым, даже умоляющим голосом, но...

Гитлер вспомнил, какое впечатление произвели на него тогда эти слова. «Шантаж, грубый шантаж! – хотелось крикнуть ему. – Вы знаете, что я никогда не соглашусь на войну в зимних условиях, знаете, что победа нужна мне сейчас, немедленно, и хотите вынудить меня прекратить наступление на Петербург и перебросить сюда, к вам, войска фон Лееба! Нет, нет и нет! Все будет развиваться по намеченному плану: сначала Петербург и Украина, а потом Москва! „Потом“ не значит „когда-то“. Это будет скоро, через две-три недели, в течение которых Петербург должен пасть!»

Но тогда ему удалось взять себя в руки. Сдержанным, холодным, но не терпящим возражений тоном он снова повторил свой план: прежде всего лишить противника жизненно важных областей. На юге наступление развивается успешно. Скоро, совсем скоро и войска фон Лееба выполнят свою задачу, и тогда будут переброшены сюда, в центр, и на очередь встанет Москва...

Но, как обычно случалось, начав говорить довольно спокойно, Гитлер не выдержал и сорвался. Он кричал, что не позволит путать его планы, что ход операций на Восточном фронте развивается успешно, очень успешно, хотя у русских оказалось больше танков и авиации, чем можно было предположить по докладам бездарных разведчиков накануне войны...

На лице Гитлера, неподвижно лежащего в горячей ванне, появилась болезненная гримаса. Он вспомнил слова, которые тогда вырвались у него: «Если бы я все это знал перед началом похода, то принять решение о наступлении на Россию мне было бы в тысячу раз труднее...»

Страшный смысл сказанного дошел до Гитлера лишь тогда, когда слова эти уже прозвучали.

Смешавшись, он заговорил снова, стремясь заставить присутствующих забыть услышанное, вычеркнуть из памяти.

Негодую на фон Бока, чей доклад вынудил его сделать необдуманное признание, на себя за то, что поддался минутной, недостойной вождя слабости, Гитлер обрушил новый поток слов на своих генералов. Он кричал, что продвижение его войск в глубь России превзошло самые смелые ожидания, что в душе он опасался, что Рундштедт остановится на линии Днепра, а он продвинулся гораздо дальше, что Лужская линия обороны красных не сегодня завтра будет прорвана...

Потом, внезапно оборвав себя, резким, требовательным голосом спросил:

– Генералы Гудериан и Гот! Когда ваши танки будут готовы к новому наступлению?

Угрюмо слушал, как генералы перечисляли потребности в новых моторах, дополнительных людских резервах.

Так закончилось то совещание в Борисове, в штабе фельдмаршала фон Бока...

И еще один разговор вспомнил Гитлер.

В конце августа здесь, в его кабинете, неожиданно появился Гудериан. Снова и снова пытался он убедить фюрера немедленно начать наступление на Москву, для чего, разумеется, надо было перебросить значительную часть войск фон Лееба, и в частности его моторизованные соединения, в поддержку армиям «Центр».

– Нет! – ответил Гитлер.

И теперь, вспоминая события последнего месяца, Гитлер говорил себе: «Я победил!»

Со злорадством представлял он, что думали тогда о нем его высокомерные генералы, полагающие, будто военные академии, штудирование Клаузевица и Мольтке могут заменить сверхчеловеческий, провидческий гений вождя.

«Кто, кто оказался прав? Я или вы?» – мысленно вопрошал Гитлер.

Ему хотелось произнести эти слова вслух, выкрикнуть их, хотя он знал, что никто сейчас его не услышит.

Что ж, они услышат его чуть позже! Гитлер с вождением представлял себе момент, когда появится на утреннем оперативном совещании и бросит телеграмму фон Лееба на стол. Пусть теперь кто-нибудь попробует усомниться в конечной правоте фюрера! Они, именно они, эти бездарные, нерадивые генералы, ссылающиеся на непредвиденное сопротивление русских, виноваты в том, что события развивались с некоторым отклонением от предусмотренного плана. И тем не менее его, фюрера, гений восторжествовал! Первая цель войны – Петербург – достигнута. Достичь второй, решающей – захватить Москву – теперь уже будет несравненно легче!

На утреннем оперативном совещании у фюрера царило приподнятое настроение. Разумеется, о телеграммах фон Лееба и Маннергейма все уже знали.

Пожалуй, никогда еще, за исключением первых дней войны, неперенные участники этих совещаний Геринг и Кейтель, Йодль и Браухич, Гальдер и Варлимонт не встречали появившегося, как обычно, в полдень Гитлера с таким верноподданническим рвением.

Но, будучи незаурядным актером, Гитлер постарался сдержать готовую выплеснуться через край радость.

Он не хотел показывать своим генералам, сколь долгожданной были для него телеграммы фон Лееба и Маннергейма, – это стало бы косвенным признанием того, что намеченные сроки молниеносной войны, по существу, сорваны.

Поэтому Гитлер ни словом, ни жестом не выдал своего ликования. Ответив на приветствие генералов небрежным поднятием руки, он сел и, как обычно, когда предоставлял слово для доклада начальнику генштаба сухопутных войск, бросил:

– Гальдер...

Разумеется, сегодня в сообщении генерала главное место занимало окружение Петербурга.

Затем докладывал начальник разведывательного управления. Отметив, что, согласно данным как агентурной, так и воздушной разведки, у русских в Петербурге нет серьезных резервов для прорыва кольца окружения, он мельком коснулся продолжающегося развертывания новых контингентов советских войск на восточном берегу реки Волхов и высказал предположение, что эти войска, видимо, предназначены для прикрытия Тихвинского направления и, таким образом, имеют чисто оборонительную задачу.

После этого заговорил Гитлер. Ему хотелось назвать сидящих за длинным столом людей неучами, трусами, генерал-школьниками, недостойными дышать одним воздухом со своим фюрером, он хотел отхлестать их по гладко выбритым физиономиям, вышибить монокли из глазных впадин и спросить, торжествуя: «Ну, кто был прав тогда, в июле и августе?»

Но он подавил клокочущие в нем чувства. Сухо, стараясь избегать громких фраз, объявил, что цель на севере фактически достигнута и что Петербург падет в течение самых ближайших дней.

Затем Гитлер распорядился дать фон Леебу две телеграммы. Одну – с поздравлением по случаю 65-летия, вторую – предписывающую фельдмаршалу не позднее 15 сентября передать значительную часть его танковых и механизированных дивизий, а также соединений пикирующих бомбардировщиков в группу армий «Центр» для решающего наступления на Москву.

Потом Гитлер объявил о своем решении наградить Маннергейма Рыцарским крестом и поручил Йодлю немедленно вылететь в Хельсинки и вручить маршалу эту высокую награду.

Только отдав эти приказания, Гитлер позволил себе произнести несколько исполненных сдержанного пафоса слов. Скрестив на груди руки и глядя поверх сидящих за столом людей, он сказал, чеканя слова:

– Для захвата Москвы двух-трех недель более чем достаточно. Таким образом, в середине октября, то есть чуть позже намеченного срока, война будет закончена.

Он сделал паузу и добавил с язвительной усмешкой:

– История простит мне это незначительное опоздание. Она всегда прощает победителей.

Наступила торжественная тишина, нарушить которую смог позволить себе только Геринг.

Он встал, поблескивая орденами, и, высокомерно оглядев присутствующих, сообщил, что со вчерашнего дня Петербург подвергается ожесточенным бомбежкам с воздуха, чередующимся с артиллерийским обстрелом улиц.

– Я уверен, – сказал Геринг, и на его лоснящемся лице появилась улыбка, – что, когда наши войска захватят город, они найдут живыми лишь тех, кто сумел вовремя спрятаться в бомбоубежищах. Нам придется выкуривать их оттуда, как тараканов!

На другой день оберкомандовермахт – верховное командование вооруженных сил – в официальной сводке, опубликованной во всех немецких газетах и ежечасно передаваемой по радио, известило Германию и весь мир, что Петербург окружен и, таким образом, цель войны на северо-востоке фактически достигнута.

Днем позже на Вильгельмштрассе, в министерстве иностранных дел, состоялась специально созванная по этому поводу пресс-конференция для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Берлине.

Конференцию проводил не рейхспрессеншеф – заведующий отделом печати министерства – Отто Дитрих, как обычно, а сам Риббентроп.

Министр заявил, что хочет лично прокомментировать чрезвычайной важности сообщение, опубликованное во вчерашних газетах.

Он подошел к большой карте северо-запада Советского Союза, висящей на стене, взял указку и, упирая ее конец в красную точку, обведенную черной ломаной замкнутой линией, торжественно, медленно, отделяя фразу от фразы многозначительными паузами, объявил, что на шее Петербурга затянута петля.

Зажглись юпитеры. Заверещали киносъемочные камеры, защелкали затворы фотоаппаратов.

Позируя перед объективами, Риббентроп, повысив голос, добавил, что в тот момент, когда происходит эта пресс-конференция, армада самолетов бомбит город с воздуха, а артиллерийские орудия непрерывно обстреливают его улицы.

– Уверен, – усмехнулся Риббентроп, – что не сегодня завтра над Смольным поднимется белый флаг. Впрочем, – голос его зазвучал угрожающе, – если большевиков соблазняет судьба Ковентри и Роттердама, то фюреру ничего не стоит стереть Петербург с лица земли.

6

Штаб генерал-фельдмаршала фон Лееба теперь располагался в Пскове.

В солнечный сентябрьский день Риттер фон Лееб, в полной парадной форме, при орден-нах, принимал в своем кабинете поздравления офицеров и генералов его штаба по случаю своего дня рождения и получения приветственной телеграммы от фюрера.

Фельдмаршал был счастлив. До сих пор война с Россией приносила ему лишь относительные успехи и реальные унижения.

И в самом деле, фон Бок мог похвастаться захватом Минска и Смоленска. На боевом счету Рундштедта была оккупация Правобережной Украины.

А чем мог гордиться фон Лееб? Быстрым продвижением в Прибалтике? Захватом Острова и Пскова? Выходом к Луге? Что ж, это были серьезные победы. Но они не имели решающего значения, поскольку главная цель – с ходу захватить Петербург – оставалась недостигнутой. А унижительный разнос, который Гитлер учинил фон Леебу за почти месячное топтание на Лужской линии, наверное, уже на всю жизнь останется в памяти фельдмаршала.

Но теперь он взял реванш. Петербург окружен. Через два дня этот город будет взят штурмом, если до этого не капитулирует...

В душе фон Лееб был религиозным человеком. Когда в августе, рискуя навлечь на себя еще больший гнев Гитлера, он посылал в ставку шифровки с просьбами о подкреплениях, то верил, что поступает так, как подсказывает ему бог. Но еще больше верил он в то, что для Гитлера Петербург является слишком серьезной ставкой, чтобы в решающий момент отказать в подкреплениях или пойти на смену командующего.

И фон Лееб добился своего. Ведь именно дополнительные контингенты бронетанковых сил и авиации помогли ему после трехнедельных безуспешных боев прорвать Лужскую линию обороны русских у Кингисеппа.

Теперь, перед решающим штурмом, в распоряжении фон Лееба было почти двадцать дивизий. Правда, фельдмаршала несколько беспокоило то обстоятельство, что дивизии эти не собраны в единый кулак и что правый фланг его слишком вытянут на юг и юго-восток. Но сегодня ему не хотелось думать о трудностях, Петербург окружен, а разрушительные бомбежки с воздуха и артиллерийский обстрел предопределяют его падение.

...Примерно к двум часам дня поток поздравляющих иссяк. Но прежде чем приступить к неотложным делам, фон Лееб должен был принять еще одного офицера, которого он сам вызвал с передовой.

Этим офицером был майор Данвиц.

Впрочем, майором Данвицу суждено было оставаться лишь до той минуты, пока он не переступил порога кабинета фон Лееба. Сообщить ему о производстве в следующий чин – оберст-лейтенанта и о назначении на должность командира полка фельдмаршал решил сам.

Когда более двух месяцев тому назад фон Лееб впервые вызвал к себе Данвица, он не знал точно, послал ли Гитлер своего бывшего адъютанта к нему в штаб в качестве соглядатая или просто дал майору отставку в результате каких-то интриг, денно и ночью плетущихся при «дворе» фюрера.

Так или иначе тогда фон Лееб решил не рисковать и выиграть при любых обстоятельствах. Удовлетворив желание Данвица занять строевую должность, он, с одной стороны, оказывал услугу этому офицеру, тем большую, что поручал ему командование штурмовым отрядом, с другой – убирал Данвица подальше от своего штаба, что было целесообразно при всех условиях, и давал ему возможность погибнуть или отличиться. В этом, последнем случае, рассчитывал фельдмаршал, Данвиц запомнит, кому лично обязан своим успехом, что немаловажно, если фюрер по-прежнему благоволит к своему бывшему приближенному.

Фон Лееб выиграл. Гитлер не забыл о Данвице. Не случайно этот майор был по личному приказу Йодля вызван в штаб группы армий «Север» как раз накануне приезда туда Гитлера. Данвица пригласили в салон-вагон фюрера сразу же после того, как сам он, Лееб, оплеванный, опозоренный Гитлером, покинул этот вагон.

О чем спрашивал Данвица фюрер? Может быть, и о нем, фон Леебе?..

При порядках, господствовавших в старой немецкой армии, сама мысль, что кто-либо из руководителей государства будет интересоваться мнением третьестепенного офицера о старших военачальниках, показалась бы нелепой, кощунственной. «Но в наше время, – размышлял фон Лееб, – все это – увы! – вполне возможно».

В мыслях своих фон Лееб все еще отделял себя от Гитлера и национал-социализма. Но это было всего лишь иллюзорное самоутешение. Ибо на деле фон Лееб вот уже три года был одним из верных, покорных Гитлеру служаек, хотя формально и не состоял членом нацистской партии. Это он получил Рыцарский крест за вторжение во Францию, он оккупировал Судеты, он нес теперь огонь и смерть на советскую землю. Планы Гитлера были и его, фон Лееба, планами.

Некоторая же внутренняя оппозиция фельдмаршала Гитлеру и его окружению была основана не на каких-то принципиальных разногласиях, а на уязвленном самолюбии.

Старый кайзеровский офицер страдал от унижения, отдавая себе отчет в том, что продал свою шпагу ефрейтору, который в иные времена незамеченный стоял бы перед ним навтыжку.

Но эти чувства говорили в фон Леебе, лишь когда фюрер разносил фельдмаршала. В такие минуты фон Лееб повторял про себя в бессильной злобе: «Ефрейтор, невежественный, грубый ефрейтор!..»

Но когда Гитлер был к нему благосклонен, фон Лееб уже не вкладывал в это слово оскорбительного смысла. Он говорил себе: «Что ж, в конце концов, и Наполеон был когда-то капралом. Однако это не помешало ему впоследствии иметь у себя на службе таких отчаянной смелости полководцев, как Мюрат, или таких дипломатов, как Талейран».

Так размышлял фон Лееб и сегодня, принимая поздравления своих подчиненных.

Еще полтора месяца назад уверенный, что карьера его рухнула, ныне фельдмаршал чувствовал себя так, как в далекие дни во Франции.

«Как быть дальше? – размышлял фельдмаршал. – Может быть, не стоит больше испытывать судьбу? Может быть, после парада войск на Дворцовой площади, принимать который, несомненно, будет сам Гитлер, попросить фюрера об отставке, ссылаясь на годы и болезни? Уехать к себе в имение увенчанным лаврами покорителя Петербурга?..»

Но чем явственнее представлял себе фон Лееб прелести семейной жизни в родовом имении под Кёнигсбергом, когда он, окруженный почетом, овеянный славой, будет со стороны наблюдать за «суею сует», тем больше начинал точить его сердце червь тщеславия.

«Почему отставка? Зачем?! – спрашивал он себя. – Уйти накануне победоносного окончания войны? Отойти в сторону, в тень в то время, как на генералов-победителей посыплются почести и награды? Когда будут щедро раздаваться жирные земли России?..»

И вдруг фон Лееб со всей отчетливостью представил себе, что это от него, командующего почти третьей вооруженных сил Германии на Восточном фронте, во многом зависит наступление часа окончательной победы!

Ведь судьба Москвы зависит от того, как скоро он, фон Лееб, сможет перебросить в помощь фон Боку большую часть своих высвободившихся после захвата Петербурга войск. Следовательно, это он, фон Лееб, в конечном итоге решит исход всей войны! И если принимать победоносный парад войск на Красной площади будет конечно же сам фюрер, то вполне возможно, что командовать этим парадом на этот раз он прикажет двоим: фон Боку и ему, фон Леебу.

Добровольно отказаться от всего этого? Покинуть пир перед тем, как будет подано самое лакомое блюдо? Уйти из строя в момент, когда вручаются высшие награды, исчезнуть за секунду до того, как назовут твое имя?..

Нет, только глупцы ведут себя таким образом! В конце концов, шестьдесят пять лет для генерал-фельдмаршала совсем не старость. Он, фон Лееб, стоял на посту в часы неудач, когда на него сыпались оскорбления фюрера. Так зачем же уходить теперь, накануне часа победы, когда его ожидают награды и рукоплескания всей Германии?!

И вдруг неожиданно пришедшая в голову мысль прервала цепь приятных размышлений фельдмаршала. И эта мысль была до примитивности элементарной: ведь Петербург еще не взят! И все, что он, фон Лееб, рисует сейчас в своем воображении, может стать реальностью лишь в одном случае: если Петербург падет...

Но он не может не пасть, этот проклятый город! Он осажден со всех сторон, а решающей помощи извне ему ждать неоткуда. Сталин не может снять войска ни с Московского, ни с Южного направлений. Это означало бы немедленный захват фон Боком и Рундштедтом советской столицы, всей Украины, всего Кавказа.

Следовательно, никто и ничто не может вырвать Петербург из железных когтей немецкого орла. Сам фюрер не сомневается в том, что Петербург падет в течение ближайшей недели, а этот человек, что ни говори, несомненно, обладает даром предвидения.

«Итак, – продолжал размышлять фон Лееб, – от взятия Петербурга зависит не только судьба Москвы, а, следовательно, сроки окончательной победы, но и моя личная судьба. Но, с другой стороны, если подойти трезво, разве исключена ситуация, что Петербург будет взят, а лавры достанутся не мне, а кому-то другому? Разве мало людей, готовых возложить на меня основную вину за срыв сроков, предусмотренных планом „Барбаросса”? И не начнут ли они нашептывать Гитлеру даже после падения Петербурга, что моя заслуга здесь минимальная и что если раньше меня нельзя было снять, не возбудив этим в мире толки о провале наступления под Петербургом, то теперь самое время отправить меня на покой?..»

Фон Лееб хорошо знал нравы, царящие в Растенбургском лесу. И мысль о том, что найдется много охотников вырвать у него из рук наконец-то обретенную победу, не оставляла фельдмаршала даже в тот момент, когда он предавался самым соблазнительным мечтам.

Он чувствовал, что «двор» Гитлера, как мысленно называл фон Лееб то ближайшее окружение рейхсканцлера, которое давно уже заменило практически не существующий кабинет министров, не слишком благоволит к нему, старому кайзеровскому офицеру, к тому же не торопящемуся вступить в нацистскую партию.

И фон Лееб решил сделать ход, который должен был привлечь к нему благосклонное внимание фюрера в дни раздела огромного русского пирога.

Этот ход был связан с Данвицем, который, сам того не сознавая, должен был стать его, Лееба, личным представителем, его ходатаем и защитником в ставке фюрера после того, как Петербург будет взят.

Фельдмаршал не сомневался, что Данвиц, о котором Гитлер не забыл, лично наградив его орденом, после окончания войны снова будет своим человеком и в новой имперской канцелярии, и в Бергхофе. И надо сделать так, чтобы этот фанатик-нацист имел все основания и на этот раз считать себя лично обязанным ему, фон Леебу...

– Господин генерал-фельдмаршал! Командир батальона майор Данвиц явился по вашему приказанию!

Фон Лееб вскинул монокль и пристально посмотрел на Данвица.

Однако, подумал фельдмаршал, за полтора месяца этот майор сильно изменился. Тогда, в июле, он казался воплощением арийского идеала, по крайней мере внешне. Рядом с ним сам Гитлер, не говоря уже о Геббельсе, выглядел бы как представитель неполноценной расы. Бледное лицо, голубые глаза, резко очерченный подбородок, светлые волосы – таким запомнил

Данвица фон Лееб. Теперь перед ним стоял человек, чьи выгоревшие волосы приобрели рыжеватый оттенок, лицо побурело от солнца и ветра и даже глаза потеряли свой голубовато-стальной оттенок, став какими-то оловянными...

Все это отметил про себя фон Лееб почти мгновенно. Затем сказал подчеркнуто сухо, и смысл его слов по контрасту с тоном, каким они были произнесены, приобрел особое значение:

– Не майор Данвиц, а оберст-лейтенант Данвиц. И не командир батальона, а командир полка. Повторите рапорт!

Кровь прихлынула к лицу Данвица, услышавшего о своем производстве в следующий чин и повышении в должности.

Стараясь справиться с охватившим его волнением, с трудом произнося слова, Данвиц повторил рапорт, впервые в жизни назвав себя оберст-лейтенантом и командиром полка.

«Значит, фюрер не потерял ко мне своего доверия!» – радостно думал он.

Но Данвиц ошибался, считая, что своим повышением обязан лично Гитлеру: соответствующее представление было сделано несколько дней тому назад по инициативе фон Лееба генерал-полковником Хепнером.

Всех этих подробностей Данвиц, естественно, не знал. В первые мгновения он даже забыл поблагодарить фон Лееба.

И, только увидев, что фельдмаршал выжидающе смотрит на него, понял, что совершил бестактность.

Ну, разумеется же, именно фон Леебу, этому старому, заслуженному полководцу, практически обязан он неожиданным повышением!

Для Данвица не было секретом, что фельдмаршалом в ставке недовольны. Июльская встреча с фюрером, короткие беседы с сопровождавшими его адъютантами, которых Данвиц хорошо знал, лишь подтвердили это. Тем не менее сам Данвиц, лично познавший, что значит сопротивление русских и каково воевать в стране, где, кажется, не только люди, но и сама земля, деревья, стены домов источают ненависть к каждому, кто носит вражескую военную форму, был в душе гораздо более снисходительным к старому фельдмаршалу. Теперь же он кроме сочувствия испытывал к нему нечто большее – уважение, смешанное с сыновней благодарностью.

– Господин генерал-фельдмаршал, – внезапно севшим голосом, еще более вытягиваясь и вскинув голову, произнес Данвиц, – разрешите почтительно выразить благодарность за столь высокую оценку, которую...

Он сбился, замолчал, но, справившись с собой, громко продолжал:

– Разрешите мне также поздравить вас с днем рождения и телеграммой нашего фюрера. Об этом уже знают в войсках...

– Благодарю, – коротко ответил фон Лееб. Это слово ему сегодня пришлось произнести уже очень много раз. – Кстати, – сказал он, переводя взгляд на Железный крест, резко выделяющийся на серо-зеленом кителе Данвица, – у меня еще не было случая лично поздравить вас с орденом. Я знаю, что вы получили эту награду из рук фюрера.

– Наш фюрер проявил незаслуженную милость. За первый бой на Луге я был достоин не ордена, а сурового наказания, – ответил Данвиц.

– Мы все в те дни вызвали справедливый гнев фюрера, – с горечью и вместе с тем несколько снисходительно сказал фон Лееб. – Но так или иначе мы выполнили его волю: Петербург окружен и лежит у наших ног...

– Никто в ваших войсках не сомневался, что так и будет, – поспешно отозвался Данвиц.

Данвиц говорил совершенно искренне. А некоторая его экзальтация объяснялась отнюдь не желанием польстить фельдмаршалу. Данвицу подсознательно казалось, что его слышит сейчас тот, кто уже ни при каких обстоятельствах услышать его не мог, – покойный капитан Миллер.

– В разговоре, которым удостоил меня фюрер, я, признав собственную вину, не мог распространить ее на моих солдат. Они выполняли свой долг, не щадя жизни, – добавил Данвиц.

– И вы сказали чистую правду, оберст-лейтенант! – с несвойственным ему пафосом воскликнул фон Лееб, стараясь понравиться гитлеровскому любимцу.

И тут же, как бы увидев себя со стороны, с горечью подумал: «Сложные, трудные времена!.. Фельдмаршал немецкой армии заигрывает с каким-то офицеришкой, человеком без роду и племени...»

Он не мог удержаться от легкой гримасы отвращения. И чтобы скрыть ее, резко повернулся и пошел к стене, на которой висела прикрытая драпировкой карта.

– Подойдите сюда! – приказал фон Лееб и потянул шелковистый шнурок. Медленно раздвинулись шторы, открывая огромную, в полстены, карту. – Я вызвал вас, оберст-лейтенант, – произнес фон Лееб, стараясь говорить сухо и отчужденно, чтобы хоть перед самим собой взять реванш за свою недавнюю слабость, – не только для того, чтобы сообщить о повышении в чине и должности. В конце концов, вы все это заслужили. Ваши солдаты находятся ближе всех к Петербургу. Здесь. – Он указательным пальцем обвел на карте острие стрелы, изогнутой с юго-запада на север. – В десяти километрах от Царского Села. Верно?

– В пятнадцати, господин генерал-фельдмаршал, – корректно поправил Данвиц.

– Эти лишние пять километров уже не играют никакой роли, – несколько раздраженно отозвался фон Лееб. – Ни пять, ни десять. Петербург взят в тиски. Когда вешают человека, – продолжал он с мрачной усмешкой, – то не имеет значения, вплотную ли прилегает к его горлу петля. Она все равно затянется, когда из-под ног вышибут табуретку. Так вот...

Он подошел к письменному столу, взял из ящика сигару, раскурил ее и, вернувшись к карте, повторил:

– Так вот... Если русские не капитулируют, мы начнем решающий штурм Петербурга через два, вернее, через полтора дня. Главное бремя наступления будет нести опять-таки танковая группа Хепнера, точнее, сорок первый моторизованный корпус Рейнгардта. В остающееся время вы примете командование полком в этом корпусе, полком, которому предстоит... – Фон Лееб сделал многозначительную паузу и торжественно окончил: —...первым ворваться в Петербург. Здесь, – указал он концом сигары на район Петергофа и Стрельны.

Данвиц стоял, потеряв дар речи. Слова фельдмаршала потрясли его. Они были искуплением за все. За неудачи на Луге. За смерть капитана Миллера. За мучительные размышления о невыполненном долге перед фюрером...

– Разумеется, – продолжал фон Лееб, делая вид, что не замечает состояния Данвица, – вашему же полку будет предоставлена честь открыть парад немецких войск на Дворцовой площади. Не сомневаюсь, что принимать парад будет сам фюрер.

Данвиц подумал о том, что вот так же стоял перед фельдмаршалом два месяца тому назад, не находя слов благодарности за назначение его командиром ударного отряда. Только тогда Петербург был еще далекой мечтой...

– Вам предстоит немедленно направиться в штаб корпуса и представиться генералу Рейнгардту в новом качестве, – сказал фон Лееб. – О вашем назначении ему известно.

Но Данвиц не двигался с места.

Голос фельдмаршала доносился до него как бы издалека. В его ушах все еще звучали слова: «...первым ворваться в Петербург».

В эти минуты Данвиц не думал о плане предстоящей операции, о населенных пунктах, которые предстоит захватить на пути к Ленинграду.

Пожалуй, впервые после неудачи на Луге он почувствовал радостное облегчение. Мучившие его угрызения совести, связанные с тем, что приказ фюрера не выполняется в установленные сроки, горькие размышления о причине необъяснимого, все возрастающего сопротивления русских, предсмертные слова капитана Миллера о том, что бур, легко входя в

поверхностные слои земли, ломается, наткнувшись на твердые породы, – все то, что в последнее время отравляло существование Данвица, теперь исчезло. С его плеч точно сняли тяжелый груз. Он подумал о том, что был болен странной, необъяснимой болезнью, подтачивавшей его силы.

Нет, он ни в чем не мог себя упрекнуть. Болезнь не отражалась на его действиях, поступках. После встречи с фюрером он дрался с врагом с еще большей яростью, а его отношение к пленным русским солдатам, к населению стало еще более жестоким, как этого требовал фюрер.

И тем не менее страшные слова Миллера время от времени раздавались в его ушах, он размышлял о них снова и снова. Эти навязчивые мысли казались ему результатом какого-то опасного, необъяснимого недуга, микробы которого жили в этой чужой земле, в лесах и болотах ненавистой ему страны...

И вот теперь Данвиц почувствовал, что болезнь прошла. Исчезла внезапно, разом. Он ощутил пьянящий запах победы. Война перестала пахнуть горелым человеческим мясом, тошнотворными испарениями бензина, болотной тиной и грязным, подолгу не сменяемым бельем.

Это был другой, почти забытый Данвицем запах, похожий на тот, который он с наслаждением вдыхал в Германии накануне войны, который ощущал в первые дни вторжения в Россию.

Щелчок зажигалки фон Лееба, раскуривающего погасшую сигару, вернул его к действительности. Прерывистым, дрожащим от волнения голосом Данвиц произнес:

– Разрешите идти, господин генерал-фельдмаршал?

– Идите, оберст-лейтенант! – милостиво кивнул фон Лееб.

Потом поискал место, куда бы положить сигару, не нашел, с раздражением отбросил ее в сторону, на пол, и, подобно рядовому штурмовику, выкинув вперед напряженную руку, крикнул:

– Хайль Гитлер!

– Садитесь, оберст-лейтенант, – сказал генерал Рейнгардт после того, как поднявшийся в его штабной автобус Данвиц доложил о своем прибытии.

О том, что офицер его корпуса Данвиц назначен командиром полка, генерал уже знал. Собственно, он не имел ничего против этого выскочки, который хоть и допустил грубую ошибку в первый день боев на Луге, но в последующих сражениях, и в особенности под Кингисеппом, проявил себя храбрым и толковым командиром.

Славу, размышлял Рейнгардт, всегда приходится делить, поскольку сами генералы в атаки не ходят. Делить с реальным или воображаемым солдатом, который, судя по рапортам, первым ворвался в тот или иной важный населенный пункт или водрузил знамя на той или иной важной высоте, делить с командирами подразделения и части, где числился этот солдат. Все это неизбежно – такова практика войны.

Что ж, пусть в Петербург первым ворвется со своим полком известный самому фюреру офицер по имени Арним Данвиц. Этот факт лишь привлечет дополнительное внимание ставки к тому соединению, в которое этот полк входит.

Таким образом, интересы Рейнгардта и этого Данвица целиком совпадают.

Как и у фон Лееба, у генерала Георга Ганса Рейнгардта были свои расчеты и свои далеко идущие планы.

Раньше, во время затяжных, неудачных боев на Луге, Рейнгардт предпочел бы, чтобы задача непосредственного выхода к Петербургу была возложена на другое воинское соединение: на командире такого соединения обычно концентрируется внимание высшего начальства, и на него же падает первая молния гнева в случае невыполнения задачи. Но теперь, когда город был окружен, Рейнгардт радовался тому, что именно его моторизованному корпусу предстояло возглавить решающий удар.

Не только слава покорителя Петербурга прельщала Рейнгардта, внутренне убежденного, что ему, а не старику фон Леебу должен был поручить Гитлер командование группой армий

«Север». Приехавший с инспекционными целями генерал из штаба Йодля, приятель Рейнгардта еще по довоенным временам, рассказал ему о некоторых подробностях недавнего совещания у фюрера. Он сообщил, что тотчас же после падения Петербурга корпус Рейнгардта будет переброшен под Москву.

Это сулило командиру корпуса новые и весьма радужные перспективы.

Песня старика Лееба, по существу, спета. Совершенно очевидно, что после падения Петербурга здесь, на северо-востоке, все же останется некоторое количество войск, пусть минимальное. Место командующего группой армий «Центр» занято, к тому же двум фельд-маршалам на одном фронте было бы слишком тесно. Следовательно, Лееба, скорей всего, оставят в Петербурге в его нынешней должности, которая в дальнейшем уже не будет иметь никакого реального значения.

Он же, Рейнгардт, только выиграет от переброски под Москву. Части Гудериана сильно потрепаны, и на корпус Рейнгардта, по всей вероятности, ляжет основная задача по прорыву оборонительных поясов перед советской столицей. Таким образом, и там, под Москвой, Рейнгардту будет суждено сыграть одну из главных ролей. Он будет покорителем не только Петербурга, но и Москвы!

Но для того чтобы все это осуществилось, размышлял генерал, надо как можно скорее покончить с Петербургом.

Вызвав командира моторизованной дивизии, куда входил полк, командовать которым теперь поручалось Данвицу, Рейнгардт представил ему новоиспеченного оберст-лейтенанта, а затем изложил стоящую перед ним задачу. Смысл ее заключался в том, чтобы нанести решающий удар в центр обороны русских в районе Дудергофских высот, расположенных в двух десятках километров от Петербурга, юго-восточнее Красного Села и западнее Пушкина. Моторизованной дивизии надлежало быть как бы стрелой этого удара, а полку Данвица – острием этой стрелы.

– Разумеется, – сказал Рейнгардт, – вам придется захватить Красное Село.

Он усмехнулся и уже другим, не официально-командным, а грубовато-фамильярным тоном заметил:

– Что ж, мы сделаем его действительно красным. Красным от крови.

Эта мрачная острота показалась Рейнгардту очень удачной, и он продолжал:

– Собственно, и захват Дудергофских высот имеет, помимо важного тактического, еще и символическое значение. Я читал где-то, что именно с этих высот русские цари обычно наблюдали маневры гвардейских полков близ Петербурга. Хочу предупредить, что, хотя все связанное с царями вызывает у большевиков ненависть, они будут защищать Дудергофские высоты со свойственными им яростью и иступлением. По данным нашей разведки, сегодняшний петербургский вождь Жданов направил туда соединения молодых фанатиков-коммунистов и так называемое народное ополчение. Так что легкой победы не ждите. Но там, где победа может быть легкой, – добавил он уже с некоторой напыщенностью, – фюрер не использует наш корпус.

Было 13 часов 30 минут, когда Данвиц покинул автобус командира корпуса, чтобы отправиться в расположение полка, командовать которым ему отныне предстояло.

Данвиц торопился: до начала наступления у него оставалось меньше полутора суток.

7

Девятого сентября на рассвете моторизованный корпус Рейнгардта во взаимодействии с пехотным корпусом после длившейся два часа артиллерийской и авиационной подготовки начал генеральное наступление.

Еще ранее немецкая разведка донесла, что в районе Красного Села оборону держит не кадровое воинское подразделение, а дивизия народного ополчения. Ни фон Лееб, ни Рейнгардт, что бы ни говорили они Данвицу, не ожидали поэтому встретить здесь серьезное сопротивление. Однако первые атаки Рейнгардта были отбиты, причем его корпус потерял около тридцати танков.

Фон Лееб приказал поднять в воздух несколько эскадрилий самолетов, которые, сменяя одна другую, в течение всего дня бомбили боевые порядки и тылы ополченцев, и к вечеру Рейнгардту удалось вклиниться в советскую оборону на глубину от одного до трех километров.

Ворошилов, стремясь во что бы то ни стало приостановить продвижение немцев, приказал командующему 42-й армией, оборонявшей южные подступы к Ленинграду, использовать двухдневную норму снарядов на каждое артиллерийское орудие. Но не хватало не только снарядов, но и самих орудий.

Тем не менее после активной артподготовки ополченцы пошли в контратаку. Но ни беспримерная храбрость бойцов ополченской дивизии, ни помощь морской артиллерии, начавшей вести огонь из Кронштадта, не могли кардинально изменить положение.

Правда, продвижение противника к Красному Селу удалось задержать. Но менее чем на сутки.

На следующий день, 10 сентября, Рейнгардт, бросив в бой танковую дивизию из второго эшелона, возобновил наступление.

Когда вступивший в командование фронтом Жуков резко упрекнул Военный совет Ленинградского фронта в том, что не было предпринято необходимых мер для укрепления линии фронта на участке, где неприятель наносит основной удар, он был прав лишь отчасти.

И ту горечь и обиду, которую при этом ощутили Жданов, Васнецов и другие члены Военного совета, можно было понять, поскольку Военный совет и до прибытия нового командующего старался помочь 42-й армии. Туда были посланы подкрепления: вновь сформированные добровольческие отряды, курсанты военных училищ.

Однако предпринять необходимый, хоть и очень рискованный шаг – перебросить в 42-ю армию некоторые части из 23-й армии с Карельского перешейка – руководители ленинградской обороны не решались.

И этим воспользовались немцы.

Утром 11 сентября, подтянув новые силы, они продолжали наступление, на этот раз в обход Дудергофа с юга.

К вечеру Дудергофские высоты были захвачены.

На рассвете следующего дня Данвиц, не прибегая к шифру, срывающимся от волнения голосом торжествующе передал по радио в штаб Рейнгардта, что Петербург лежит у его ног и что в бинокль он видит дымящиеся трубы и даже движение людей на городских улицах...

Сутками позже произошло событие, о котором немецкая дивизионная радиостанция немедленно сообщила в штаб Рейнгардта. С узла связи корпуса новость была передана по радио в Псков, в штаб фон Лееба, а торжествующий фельдмаршал приказал незамедлительно телеграфировать в ставку Гитлера.

А произошло вот что.

Фон Лееб бросил свои танковые и моторизованные части по направлению к побережью Финского залива. И к исходу дня солдаты одного из подразделений полка Данвица, прибыва-

ясь к дороге, ведущей из Урицка в Петергоф, неожиданно увидели рельсовый путь. По отсутствию шпал командир батальона догадался, что перед ним не железнодорожные рельсы, а... трамвайные.

В то время как немцы, не веря себе, с изумлением и радостью рассматривали рельсы, вдалеке со стороны города показалась черная точка, которая приближалась и росла.

Схватив бинокль, командир батальона убедился в том, что эта точка не что иное, как трамвай. Он находился еще далеко, но в бинокль было отчетливо видно, что трамвай движется сюда. Командир батальона немедленно известил об этом командира полка.

Когда примчался на машине Данвиц, трамвай был уже хорошо виден и без бинокля.

Данвиц дал команду залечь в укрытия и сам, лежа за пригорком, лихорадочным взглядом наблюдал за приближающимся трамваем, уверенный, что русские или используют его для переброски подкреплений, или наполнили взрывчаткой и снабдили часовым механизмом, чтобы вагон взорвался в расположении немцев.

А трамвай был уже совсем близко... Проехав еще несколько метров, скрипнув тормозами, вагон остановился, и из него стали выходить люди – старик, женщина с ребенком.

Все еще лежа за пригорком, Данвиц внимательно вглядывался в тех, кто выходил из вагона. И вдруг понял, что перед ними обычный, следующий своим рейсом городской трамвай.

«Значит, я уже в Петербурге?!» – пронеслось в сознании Данвица. На какую-то секунду эта мысль как бы сковала его. «Бог мой, мой фюрер, ведь это уже значит... ведь этот трамвай только что прошел по петербургским улицам!..»

Наконец, обретя дар речи, Данвиц крикнул:

– Солдаты! Мы в Петербурге! Переводчик, за мной!

Он поднялся на ноги с автоматом наперевес, побежал к трамваю и вскочил на переднюю площадку.

Срывающимся от волнения голосом Данвиц крикнул:

– Halt! Absteigen!¹

И переводчик торжествующе, полным иронии тоном повторил уже по-русски:

– Выходите, господа! Приехали! Конец пути!

Данвиц перевел взгляд на водителя и увидел, что тот смотрит на него остекленевшими глазами.

Не сознавая, что русские не понимают его, Данвиц закричал по-немецки, захлебываясь от радости и возбуждения:

– Слушайте, вы! Вы все! Конец Петербургу! Мы победили! Хайль Гитлер!

Но люди – мужчины, женщины, дети, – потрясенные случившимся, не двигались.

– Выходите! – снова крикнул Данвиц. – Выходите всем!

Он обернулся, чтобы приказать солдатам очистить вагон, и сквозь стекло передней площадки увидел, что на рельсах творится нечто невообразимое: солдаты отплясывали перед самым трамваем какой-то дикий танец. Потрясая автоматами, они выкрикивали, мешая немецкие слова с русскими:

– Absteigen! Endstation!² Ходи сюда, Иван! Wir sind schon da!³ Петербург капут!

И в этот момент Данвиц почувствовал, что его резко толкнуло, он едва не упал, налетев на стоявшую перед ним в проходе женщину. Данвиц не успел сообразить, что произошло, но запомнил, как эта женщина с искаженным то ли от страха, то ли от отвращения лицом с силой, обеими руками оттолкнула его, оттолкнула так брезгливо, точно он, Данвиц, был неожиданно упавшей ей на грудь жабой, гадиной...

¹ Стой! Выходите! (нем.)

² Выходите! Конечная остановка! (нем.)

³ Мы уже пришли! (нем.)

В ту секунду Данвиц еще не понял, что вожатый резко тронул с места трамвай и повел его на беснующихся на рельсах немецких солдат...

Данвиц услышал крики, проклятия. Выскочив обратно на площадку, он увидел, что вожатый, согнувшись, почти лежа грудью на контроллере и зажав в кулаке ручку управления, ведет вагон вперед, прямо на не успевших вовремя отбежать солдат.

Подняв автомат, Данвиц выпустил длинную очередь в спину вожатому.

Тело вожатого обмякло, но трамвай продолжал двигаться: онемевшая рука все еще сжимала ручку управления.

Вне себя от ярости, Данвиц стал колотить прикладом автомата по этим пальцам, размозжил их, схватил мокрую от крови круглую деревянную ручку, рванул ее...

Только тогда трамвай остановился.

Соскочив с площадки, Данвиц, оглядываясь, бросился в сторону, точно боясь, что этот страшный трамвай может не только двинуться снова, но даже изменить направление, свернуть с рельсов и устремиться за ним в погоню.

– Огонь! – истошным голосом крикнул оберст-лейтенант. – По вагону огонь!..

Он услышал, как забарабанили автоматные очереди по металлу. Солдаты били по трамваю в упор, били в открытые окна, а потом, вскочив на площадку, застрочили из автоматов в упор по людям...

Они стреляли еще долго после того, как люди эти превратились в кровавое месиво...

Наконец все кончилось.

Данвиц мрачно стоял в стороне, наблюдая, как санитары уносят трупы его солдат, нашедших свою смерть под колесами вагона.

Торжество было испорчено. Данвицу хотелось бы вывести ехавших в вагоне русских сюда, на землю. Окружить их автоматчиками. Заставить стать на колени и молить о пощаде. Приказать кричать «Хайль Гитлер!». Может быть, он и не расстрелял бы их. Может быть, направил бы этих людей под охраной в тыл – первых захваченных в плен жителей Петербурга. Там их могли бы сфотографировать. Послать снимки фюреру как реальное доказательство того, что Петербург пал...

Пробитый сотнями пуль, искореженный трамвай стоял неподвижно.

Данвиц подозвал связиста и, не глядя на него, мрачно сказал:

– Доложите в штаб дивизии, что полк вышел на окраину Петербурга.

Передача сообщения из штаба дивизии в штаб корпуса, а оттуда фон Леебу заняла немного времени.

В полдень того же дня генерал-фельдмаршал Риттер фон Лееб сообщил в ставку Гитлера, что передовые части его войск вышли на линию городских трамвайных путей Петербурга.

8

Ночью Жданова разбудил телефонный звонок. Телефон стоял на тумбочке рядом с кроватью. Не зажигая света, еще в полудреме, Жданов схватил трубку и прижал ее к уху. Он услышал голос Жукова.

Прошло всего два часа с тех пор, как они расстались после отбоя очередной воздушной тревоги.

Артиллерийский обстрел немцы вели почти круглосуточно, в авиационных же налетах существовала некоторая закономерность, и после того, как заканчивалась очередная бомбежка, проходило три, а иногда и четыре часа до следующей.

Именно поэтому, когда по радио прозвучал отбой, Жданов, спавший последние трое суток лишь урывками, решил пойти отдохнуть – с начала войны он жил тут же, на территории Смольного, – и прилечь хотя бы ненадолго.

И вот теперь его разбудил звонок Жукова.

Нашупав кнопку стоящей на тумбочке лампы, Жданов включил свет и взглянул на часы.

Стрелки показывали двадцать минут третьего, это означало, что поспать ему удалось около полутора часов.

– Я сейчас зайду, – сказал Жуков.

– Что-нибудь случилось? – встревоженно спросил Жданов.

– Сейчас зайду, – повторил Жуков.

Через несколько минут Жуков спустился во двор Смольного.

Небо было розовым от пожаров, вспыхнувших во время недавней бомбежки. Откуда-то доносилось завывание сирен пожарных машин и глухой грохот артиллерийских разрывов.

Снаряды рвались не в Смольнинском районе, а где-то далеко, может быть, даже за пределами города, об этом свидетельствовал другой звук, мерный, точно удары дятла по дереву. Казалось, он слышался отовсюду – сверху, с неба, из-под земли, из стен домов, – сухой отчетливый звук. Это стучал метроном, включенный в городскую радиосеть, и сотни репродукторов, установленных на улицах, с удесятенной силой воспроизводили это спокойное и громкое: «Тук... тук... тук...»

С тех пор как враг начал регулярные воздушные налеты на Ленинград, а затем и артиллерийский обстрел улиц, миллионы ленинградцев стали вслушиваться в стук метронома так, словно это было биение сердца города.

Спокойно-размеренные удары метронома, когда не грозила опасность бомбежки или обстрела, становились лихорадочно частыми после объявления воздушной или артиллерийской тревоги.

Сейчас метроном стучал уверенно и ровно, как сердце здорового человека.

Жуков постоял, прислушиваясь к артиллерийской стрельбе, – она доносилась с юго-запада. Потом направился к двухэтажному флигелю, где теперь жил Жданов.

Миновав прихожую, Жуков поднялся на второй этаж. Жданов уже ждал его в кабинете. Едва Жуков переступил порог, Жданов торопливо повторил вопрос, на который так и не получил ответа по телефону:

– Что-нибудь случилось?

Жуков подошел к стене и повернул выключатель. Комната погрузилась во мрак. Подняв маскировочную штору, резким движением распахнул окно.

– Слышите? – спросил он. – Это бьют где-то между Стрельной и городом.

Несколько секунд Жуков стоял молча, потом закрыл окно, опустил штору, зажег свет, взял за спинку один из стоящих у стены стульев, выдвинул его, тяжело сел и сказал:

– Значит, так. Час тому назад противник захватил Пушкин. Кроме того, он бросил несколько десятков танков в стык сорок второй и восьмой армий, в направлении побережья Финского залива, и рвется от Стрельны к Кировскому заводу.

Жуков произносил эти слова ровным твердым голосом, как если бы речь шла о малозначительных изменениях в обстановке на фронте, но Жданов понял, что положение обострилось до крайности.

Он молча опустился на стул рядом с Жуковым. Слышалось только его тяжелое, астматическое дыхание.

Наконец Жданов спросил:

– Что будем делать, Георгий Константинович?

– Это еще не все, – как бы не слыша вопроса, продолжал Жуков, и голос его стал жестче. – В результате продвижения противника две наши правофланговые дивизии отсечены от сорок второй армии. По полученным данным, сейчас они ведут бой на фланге Щербакова, пытаясь отбить Стрельну. Пока что безрезультатно.

Жданов мгновенно представил себе ситуацию. Генерал Щербаков командовал 8-й армией, оборонявшей побережье залива. Из того, что немцам удалось отсечь две дивизии 42-й, которые теперь оказались на левом фланге у Щербакова, неумолимо вытекал страшный вывод...

То, что Жданов представил себе мысленно, Жуков высказал вслух.

– Таким образом, – сказал он, как бы подытоживая, – восьмая с часу на час может быть отрезана.

Жуков встал и подошел к висевшей на стене карте, на которой красные флажки обозначали линию советской обороны, а синие – направления наступающих вражеских войск.

Несколько мгновений Жуков молча глядел на карту, потом резкими движениями стал переставлять флажки. Он выдергивал их и втыкал в новые места, а Жданов, наблюдая за ним, каждый раз, когда Жуков переставлял флажок ближе к Ленинграду, испытывал чувство физической боли, точно булавка впивалась в его тело.

Но самым страшным было то, что синие флажки на ряде участков врезались в расположение советских войск, свидетельствуя о прорыве фронта обороны как на юге, так и на юго-западе.

– Но если говорить откровенно, – продолжал Жуков, – меня в первую очередь беспокоит не восьмая. – Он ткнул пальцем в один из красных флажков. – Пулковские высоты – вот сейчас коренной вопрос. Здесь назревает наибольшая опасность широкого прорыва.

Жданов внимательно вглядывался в красный флажок, полуокруженный с юга синими.

Ему не надо было объяснять значение Пулковских высот – холмов, расположенных на ближних с юга подступах к Ленинграду.

Отсюда можно было не только контролировать ведущие в Ленинград Московское и Киевское шоссе, но и безошибочно корректировать артиллерийский огонь по ряду районов города.

– Но сейчас ближе всего к Ленинграду немцы на западе, у Стрельны... – проговорил Жданов.

Жуков прервал его:

– Этими силами им города не взять. Но, захватив командные Пулковские высоты, противник обеспечит продвижение к городу своих моторизованных частей. Убежден, что именно отсюда, со стороны Пулкова, фон Лееб намерен нанести решающий удар.

Жданов подумал о том, что в октябре 1919 года именно у Пулковских высот Красной Армии удалось остановить наступление ударной группировки войск Юденича. Остановить, а потом, перейдя в наступление на фланги этой группировки, разгромить ее... Но это было давно. А теперь...

– Иванов удара не выдержит, – мрачно сказал Жуков.

– Вы имеете в виду армию или лично командующего?

– Другую армию нам взять неоткуда. Надо усиливать эту. А командующего необходимо сменить немедленно.

– Но целесообразно ли делать это в столь критический момент? – с сомнением в голосе проговорил Жданов. – Новому человеку потребуется время, чтобы войти в курс дела, а времени у нас нет.

– Вы правы, времени у нас нет, – резко сказал Жуков. – Именно поэтому я и предлагаю сменить командующего немедленно.

Он подошел к Жданову ближе и продолжал:

– Вы знаете, что вчера я отправил Федюнинского в сорок вторую, чтобы на месте разобраться, что там происходит. Он только что вернулся. Докладывает, что картина мрачная. Иванов растерян. Расположения частей своей армии не знает. Связь с ними нарушена. Просил Федюнинского разрешить перенести свой КП севернее, то есть еще ближе к Ленинграду. Федюнинский запретил.

– Где же в данную минуту находится КП Иванова? – спросил Жданов, снова подходя к карте.

– Вопреки приказанию Федюнинского, Иванов все же перенес его. Сейчас КП находится в подвале школы напротив Кировского завода.

– Так... – мрачно сказал Жданов. – Где Федюнинский?

– Здесь, в Смольном.

– Я хочу переговорить с ним.

– Вопрос ясен... – начал было Жуков, но Жданов прервал его:

– Нет. Я все же хочу услышать лично. Смена командующего – серьезный вопрос. Буду готов через три минуты. Пойдем вместе.

И, не дожидаясь ответа, Жданов поспешно спустился на первый этаж.

Скоро раздался его голос снизу:

– Спускайтесь, Георгий Константинович, жду вас.

Они вышли во двор. Небо все еще пламенело. Розовый отблеск отражался в темных, плотно зашторенных изнутри окнах Смольного.

Стук метронома, ясно различимый, когда они вышли из флигеля, внезапно оборвался, и почти одновременно где-то совсем неподалеку раздался грохот оружейного разрыва.

И тотчас же метроном застучал лихорадочно быстро. На фоне этих частых ударов разнесся голос диктора:

– Граждане! Район подвергается артиллерийскому обстрелу!.. Граждане...

– Снова быют по городу, мерзавцы! – со злобой сказал Жданов.

Жуков ничего не ответил.

Они вошли в подъезд.

– Куда вы, ведь обстрел! – сказал Жуков, видя, что Жданов намерен идти в свой кабинет.

– А... черт с ним! – махнул рукой Жданов.

– Нет, – твердо сказал Жуков, – нам этот оружейный аккомпанемент ни к чему. Мешает работать. Пойдемте вниз.

И он первым повернул налево, к двери, ведущей в бомбоубежище.

Они спустились вниз, миновали переговорный пункт, прошли по узкому коридору мимо плотно закрытых дверей, ведущих в помещения отделов штаба фронта. В конце коридора путь преграждала тяжелая, металлическая дверь. Жуков с силой потянул ее на себя. Узкая, тускло освещенная двухмаршевая лестница вела еще ниже, туда, где располагались кабинеты членов Военного совета, работавших здесь во время воздушных налетов и артиллерийских обстрелов кварталов, прилегающих непосредственно к Смольному.

Кабинетом Жданову служила маленькая, двенадцатиметровая комната. Справа от входа стояла застеленная серым солдатским одеялом койка. Тускло светили две лампочки без абажуров, ввинченные в патроны на стенах. Из этой комнаты другая дверь вела в узенький полутемный тамбур, соединяющий кабинеты Жданова и Жукова.

– Останемся здесь? – сказал Жданов, не то спрашивая, не то предлагая.

Жуков молча опустил на стул и нажал кнопку звонка.

Через несколько секунд появился помощник Жданова, полковой комиссар Кузнецов.

Увидев за столом Жукова, он удивленно посмотрел на командующего, но тут заметил сидящего справа на койке Жданова и повернулся к нему.

– Вызовите сюда Федюнинского! – приказал Жуков, глядя Кузнецову в спину. – Он или где-то здесь, или наверху, в моей приемной.

– Да, да, пожалуйста, – кивнул Жданов. – И Васнецова попросите сюда.

Васнецов появился тотчас же.

– Сергей Афанасьевич, – обратился к нему Жданов, едва тот переступил порог, – на участке сорок второй создалось критическое положение.

– Знаю, – коротко ответил Васнецов, – час тому назад заходил в оперативный отдел.

– У Георгия Константиновича есть конкретное предложение, – продолжал Жданов. – Но прежде чем обсудить его, надо выслушать Федюнинского. Он только что вернулся от Иванова. Сейчас зайдет. Садитесь.

Прошло еще немного времени, и на пороге, почти касаясь головой низкой, обитой железом дверной притолоки, появился генерал-майор Федюнинский. Его усталое лицо было мертвенно-бледным. Однако он был чисто выбрит, а щеточка усов аккуратно подстрижена.

– Входи и докладывай Военному совету, что видел в сорок второй, – сухо приказал Жуков.

Федюнинский сделал два шага вперед и стоял теперь так, что мог обращаться одновременно к Жукову, Жданову и Васнецову.

– Видите ли, товарищ Федюнинский, – пояснил Жданов, – нам с товарищем Васнецовым хотелось бы самим услышать и оценить то, что вы уже докладывали Георгию Константиновичу.

– По приказу командующего, – начал Федюнинский, – я выехал...

– Давай коротко! – прервал его Жуков. – Зачем и куда выезжал, всем известно. Докладывай, что там происходит.

– Слушаюсь, – слегка наклоняя голову, сказал Федюнинский. – Во время моего пребывания на КП сорок второй шли ожесточенные бои от Урицка до окраин деревни Пулково. Видимо, немецкая группировка получила дополнительные резервы. К ночи, когда я решил вернуться в Ленинград, противник бросил крупные танковые силы в стык сорок второй и восьмой армий. Генерал Иванов обратился ко мне за разрешением перенести свой КП севернее, то есть ближе к Ленинграду. Я запретил, исходя из того, что...

– Знаем, из чего исходил, – снова прервал его Жуков.

– Скажите, товарищ Федюнинский, – заговорил Жданов, – что вам ответил Иванов?

– Сказал, что попыбует удержаться на старом месте.

– «Попыбует»! – саркастически повторил Жуков. – А сам, как только ты уехал, дал команду перевести свой КП в район Кировского! Ладно, доложи Военному совету свое мнение об Иванове.

– Товарищ командующий, – хмуро начал Федюнинский, – мне нелегко говорить... Я знал Иванова еще до войны. Он всегда казался мне волевым, решительным командиром. Но сейчас... – Федюнинский замялся.

– Не жуйте мочало! – повысил голос Жуков. – Нас интересует не то, каким был Иванов, а каков он теперь!

– Да, товарищ Федюнинский, – несколько мягче, но требовательно произнес Жданов. – Хотелось бы, чтобы вы со всей ответственностью, но совершенно искренне высказали свое мнение об Иванове.

Снова наступило гнетущее молчание.

– Не могу скрыть, Андрей Александрович, – с горечью заговорил наконец Федюнинский, – генерал Иванов производит сейчас впечатление человека растерянного, подавленного... Когда я прибыл к нему на КП, там заканчивалось заседание Военного совета армии. Они обсуждали сложившуюся обстановку, но к единому мнению так и не пришли. Связь с войсками у штаба армии отсутствовала... Хочу добавить, что по дороге к Иванову в районе Кировского я встретил танкистов из полка, входящего в сорок вторую. Командир полка доложил мне, что по приказу штабарма отходит на позиции ближе к городу. Я приказал ему вернуть полк в прежний район сосредоточения. У меня все.

– Вопрос ясен, – сказал Жуков. – Предлагаю командующего сорок второй от должности отстранить. Ваше мнение?

Он посмотрел сначала на Жданова, потом на Васнецова.

– Полагаю, что в сложившейся обстановке другого выхода нет, – медленно проговорил Жданов.

– Значит, вопрос решен, – сказал Жуков. – Кого назначим?..

Он обвел внимательным взглядом присутствующих и решительно произнес:

– Генерал Федюнинский, немедленно принимайте сорок вторую.

Федюнинский едва заметно передернул плечами.

– Что жметесь? – резко спросил Жуков.

– Товарищ командующий, принять сорок вторую армию, как это делается обычно, невозможно, – сказал Федюнинский. – Могу просто вступить в командование. И если...

– Ты тут в слова не играй! – ударил кулаком по столу Жуков. Потом исподлобья взглянул на Жданова и Васнецова и уже более сдержанно продолжал: – Вот и вступайте в командование. И немедленно восстановите порядок в штабе и в частях. Если считаете нужным взять с собой кого-либо из штаба фронта, берите. И быстро! Быстро! Задача ясна? – Жуков посмотрел на часы. – Предлагаю оформить решением Военного совета. Как, товарищи?

– Я – за, – отозвался Васнецов.

– Согласен, – сказал Жданов.

– Тогда... где там наши писари? – Жуков потянулся к звонку.

– Не будем терять времени, – сказал Васнецов.

Он вынул из кармана блокнот, карандаш и написал:

«Приказ Военного совета Ленинградского фронта. Командующего 42-й армией генерал-лейтенанта Иванова Ф.С. от занимаемой должности освободить. Генерал-майору Федюнинскому И.И. принять командование армией».

Васнецов вырвал листок из блокнота и передал его Жукову. Командующий пробежал текст глазами, размашисто подписал, встал и, выйдя из-за стола, протянул листок сидящему на койке Жданову. Жданов поискал, что бы такое подложить под листок, потом положил его прямо на одеяло и тоже подписал, несколько раз проколов бумагу острием карандаша, и вернул Васнецову. Тот подписал, уже не глядя, и положил листок на стол перед Жуковым.

– Держи, – сказал Жуков, протягивая бумагу Федюнинскому. – И слушай! Основная задача на сегодня – расширить плацдарм на побережье Финского залива, а на юге ни при каких условиях не отдавать Пулковских высот. Ясно? И не просто обороняться, а наносить удары по противнику всеми средствами, включая авиацию, военно-морские силы и сухопутную артиллерию. Командующий авиацией и Балтфлот получают соответствующие распоряжения немедленно. Дивизии НКВД, находящейся в составе сорок второй, прикажешь выдвинуть передовые отряды, чтобы не допустить прорыва врага от Урицка вдоль Лиговского канала. И последнее.

Выбьешь противника из Урицка и освободишь дорогу Стрельна – Ленинград. Ты понимаешь, что оттуда до нас можно на трамвае меньше чем за час доехать?!

Он замолчал и устремил взгляд куда-то мимо стоящего неподвижно Федюнинского, будто хотел разглядеть продвигающихся вдоль трамвайных путей немцев. Потом снова перевел взгляд на Федюнинского и отрывисто сказал:

– На сборы сорок пять минут. Через два часа принять командование и приступить к исполнению приказа. И запомни: хоть мы, как говорится, друзья-товарищи, но за выполнение приказа головой отвечаешь!

Последние слова Жуков произнес с такой решимостью и такой угрозой в голосе, что Жданов и Васнецов невольно переглянулись, лишний раз почувствовав, что этот человек не остановится ни перед чем и жестоко покарает любого, кто не выполнит его приказа.

Но Жуков, казалось, не замечал, какое впечатление произвели его слова.

– Товарищ Васнецов, – сказал он уже спокойно-деловым тоном, – вчера я приказал управлению инженерных войск срочно подготовить новый противотанковый рубеж по линии Окружной дороги. Так вот, на этот рубеж надо быстро перебросить шестую ополченскую дивизию. Под твоё командование, генерал, – снова обратился он к стоящему посредине комнаты Федюнинскому. – Поставишь её в тылу Пулковской позиции. В течение завтрашней ночи поставишь, пока будет темно. Понял? – Смерил Федюнинского взглядом с головы до пят и недовольно сказал: – Чего стоишь! Времени, что ли, много в запасе? Иди!

Круто повернувшись, Федюнинский вышел.

Какое-то время Жуков, Жданов и Васнецов молчали, бессознательно давая себе короткий отдых после столь нелегкого, но неизбежного решения.

Жуков заговорил первым:

– Вчера мы решили передать из резерва инженерного управления сорок тонн взрывчатки районным «тройкам». Товарищ Васнецов, взрывчатка получена?

Еще при Ворошилове руководство районными «тройками» было возложено на Васнецова. Созданные, когда опасность нависла непосредственно над городом, возглавляемые секретарями Кировского, Московского, Володарского и Ленинского райкомов партии, эти «тройки» руководили гражданской обороной находящихся в угрожаемом положении районов Ленинграда. На них же лежала ответственность за минирование военно-промышленных объектов на случай чрезвычайных обстоятельств, то есть если врагу все же удастся ворваться в город.

– Георгий Константинович, – ответил Васнецов, – взрывчатка получена и используется по назначению. Однако...

– Какое еще «однако»? – недовольно перебил Жуков.

– Товарищ командующий, – решительно сказал Васнецов, – на том заседании Военного совета, во время которого вы столь неожиданно появились, обсуждались мероприятия, связанные именно с минированием военно-промышленных объектов. Вы тогда приказали обсуждение прекратить.

– И правильно сделал, – отрубил Жуков. – Мероприятия на случай сдачи города...

– Товарищ Жуков, – с неожиданной резкостью прервал его Жданов, – как вы могли произнести это слово?! Ни о какой «сдаче» речь никогда не шла и не могла идти! Неужели вы хоть на мгновение могли предположить, что мы допускаем подобную мысль?! Каждому из нас ясно, что немцы могли бы ворваться в город только по нашим телам. По трупам коммунистов, комсомольцев, питерских рабочих! Им пришлось бы брать с боя каждый дом, каждую баррикаду, каждую улицу. Они захлебнулись бы в собственной крови! Это была бы пиррова победа! Я прошу вас... я требую никогда не употреблять этого слова – «сдача»!

Жуков еще не видел Жданова в таком состоянии: он стоял сжав кулаки, лицо его покраснело, глаза сузились.

Несколько мгновений в этой маленькой комнате, расположенной глубоко под землей, стояла напряженная тишина.

Потом Жуков сказал примирительно:

– Извините, Андрей Александрович. Возможно, я употребил не то слово. Преуменьшать героизм защитников Ленинграда не собираюсь. Но я человек военный и мыслю категориями военными. С чисто военной точки зрения оборона Ленинграда находится в критическом состоянии. Противник имеет огромный перевес – и количественный, и в вооружении. Нас здесь только трое, и я могу, не скрывая, сказать, что вообще удивляюсь, как немцам до сих пор не удалось...

Он не договорил, потому что Жданов снова прервал его:

– Удивляться тут нечему! Под Ленинградом врагу преграждает путь та же сила, которая противостоит ему повсюду, – партия, советский народ, великая идея, которой враг может противопоставить, кроме пушек и танков, лишь тупую ненависть к коммунизму. Злобу и ненависть! Именно вера в коммунизм, в партию дает нам силы в этой неравной борьбе. И вы все это понимаете не хуже меня. На пути к Ленинграду немцы уже положили десятки тысяч своих солдат и офицеров. По данным нашей разведки, некоторые дивизии фон Лееба насчитывают лишь половину своего прежнего состава. Я хорошо понимаю, что без отлично организованной обороны нам Ленинграда не отстоять. Поэтому мы рады, что товарищ Сталин прислал сюда именно вас, и будем помогать вам всегда и во всем. Но по тому вопросу, о котором сейчас зашла речь, у всех нас должна быть полная ясность!

Последние слова Жданов произнес уже спокойно.

Он снова сел и, обращаясь к Васнецову, сказал:

– Вы хотели о чем-то спросить Георгия Константиновича? Я прервал вас. Извините.

Васнецов, который все время напряженно слушал Жданова, внутренне соглашаясь с каждым его словом, теперь, чтобы окончательно разрядить обстановку, сказал нарочито будничным тоном:

– Собственно, мой вопрос чисто практический. На том заседании помимо членов Военного совета присутствовали секретари райкомов и директора предприятий. Вы не опасаетесь, Георгий Константинович, что этим товарищам, слышавшим, сколь резко вы сняли вопрос о минировании с повестки дня, может показаться, что... – Васнецов несколько замялся, – что ваш последующий приказ, согласно которому они получили дополнительное количество взрывчатки, находится в некотором несоответствии?..

Жуков нахмурился.

– Полагаете, что между моими словами и дальнейшими действиями есть противоречие?

– Далеко от этого, – спокойно ответил Васнецов. – Отлично понимаю, что, сосредоточив внимание Военного совета прежде всего на вопросах отпора врагу, вы были правы. Но у присутствующих товарищей могло создаться впечатление, что вы вообще рассматриваете мероприятия по минированию как проявление паники. И это может отразиться на ходе этих мероприятий.

Некоторое время Жуков молчал. Потом задумчиво заговорил:

– Сергей Афанасьевич, вы партийный работник и классиков марксизма, наверное, штудировали лучше, чем я. И слова Энгельса о том, что оборона есть смерть вооруженного восстания, вы, конечно, помните?

– Разумеется, – кивнул Васнецов. – И Ленин эти слова повторял.

– Так вот, в любой войне пассивная оборона есть гибель. Поэтому даже в сегодняшнем тяжелом положении перед нами стоит задача не просто обороны, а активного отпора врагу. Иначе мы погибнем или, как выразился товарищ Сталин, прощаясь со мной, попадем в лапы к фашистам. Чтобы этого не случилось, мы должны потребовать от командармов, командиров дивизий и полков не просто удерживать занимаемые позиции, но контратаковать! Если вчера

немцы захватили поселок, станцию, высоту, то сегодня этот поселок, станция, высота должны быть отбиты. Сегодня не удастся – атаковать и завтра, но отбить назад во что бы то ни стало! Инициативу мы должны вырвать у врага – вот в чем задача! Иначе смерть! – Жуков опять говорил твердо, властно, решительно. – Разумеется, минирование объектов надо продолжать. Но все мы, от членов Военного совета до рядового бойца, должны проникнуться мыслью, что нужно не просто обороняться, а наступать, именно наступать! Продвигаться на километры, на десятки метров, на шаг вперед, пока не в силах больше, но наступать!.. А минирование связано с сознанием, что наш удел – отступать. Так вот: минирование следует продолжать, а мысль о неизбежности отступления надо выбить из голов людей. Любыми средствами, но выбить! – Жуков перевел взгляд на Жданова. – Вы согласны со мной, Андрей Александрович?

Некоторое время Жданов молчал, но не потому, что сомневался в правильности слов Жукова. Он думал о том, как трудно, безумно трудно людям, проделавшим горький путь отступления, привыкшим к оборонительным боям, проникнуться сознанием не только необходимости, но и возможности наступления.

– Да, я согласен с вами, Георгий Константинович, – сказал Жданов, – хотя понимаю, сколь трудна в создавшихся условиях поставленная вами задача. Ленинград мы не отдадим врагу. Хотя буря достигла бешеной силы.

На последней фразе он сделал ударение: эти слова принадлежали Ленину и относились к одному из самых трудных периодов жизни молодой Советской республики.

– Да, я согласен с вами, – убежденно повторил Жданов. – Я, как и вы, верю, что Федюнинскому удастся принять неотложные меры, остановить врага, перейти к контратакам. Но на это требуется время. Пусть самое короткое, но время! А враг рвется вперед. Поэтому я считаю необходимым дать указание кировской и московской «тройкам», чтобы рабочие этих районов были готовы – в случае чрезвычайных обстоятельств – занять баррикады. В первую очередь я имею в виду рабочих Кировского завода.

Резким движением Жданов нажал кнопку звонка и попросил вошедшего Кузнецова соединить его с парторгом ЦК на Кировском заводе Козиным.

Потом Жданов спросил Жукова:

– Есть какие-нибудь новости из пятьдесят четвертой?

Это была армия, срочно сформированная Ставкой по ту сторону осадного кольца, в районе Синявина, с целью прорвать блокаду Ленинграда извне.

Жуков покачал головой:

– Ничего существенного. В будущем, я думаю, пятьдесят четвертая сыграет свою роль. Но в эффективность ее действий в ближайшие дни я не верю. Кроме того, не хочу скрывать, что на маршала Кулика как на командарма особых надежд не возлагаю.

Он не договорил, потому что в этот момент вошел Кузнецов и доложил, что Козин на проводе.

Жданов взял трубку.

– Здравствуйте, товарищ Козин. Звоню вам для того, чтобы сообщить: на Стрельнинском и Урицком направлениях создается угрожающее положение. Мы полагаем, что следует быть готовыми занимать боевые позиции.

Несколько мгновений он молчал, слушая Козина. Потом сказал:

– Я думаю, Николай Матвеевич, партком поступил правильно. Мы принимаем сейчас неотложные меры, чтобы остановить врага на побережье залива. И тем не менее вы правы.

Он снова умолк, слушая парторга, затем ответил:

– Военный совет и бюро обкома не сомневаются в этом.

Повесив трубку, Жданов обернулся к Жукову и Васнецову:

– Кировцы готовы по первому же приказу занять намеченные для обороны позиции. Я полагаю, Георгий Константинович, что надо срочно создавать дополнительные рубежи, кроме линии Окружной дороги.

– Вы правы, – сказал Жуков, постукивая карандашом по столу. – Нам очень нужны дополнительные рубежи. Но какими силами их держать? Что касается кадровых частей, то здесь все возможности исчерпаны.

– Георгий Константинович, – спокойно, но твердо ответил Жданов, – я секретарь областной и городской партийных организаций и знаю, что говорю. Да, мы исчерпали все наши наличные резервы. Но в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах мы еще раз проведем мобилизацию членов партии и комсомольцев. Снова объявим набор добровольцев на предприятиях и в учреждениях, в органах НКВД и милиции. Может быть, вам, военному человеку, это покажется громкой фразой, но я еще раз хочу сказать, что, пока живы коммунисты, силы Ленинграда неиссякаемы.

– Хорошо. Согласен, – сказал после короткого раздумья Жуков. – Давайте примем решение. Запишешь, Сергей Афанасьевич? – взглянул он на Васнецова. – Почерк у тебя больно хороший...

И стал диктовать:

– Сформировать пять стрелковых бригад и две стрелковые дивизии, сосредоточив их с целью непосредственной обороны города, для чего создать дополнительные линии обороны. Так?

Жданов кивнул.

– Перемалывать противника артиллерийским, минометным огнем и авиацией, – продолжал диктовать Жуков. – Восьмой армии наносить удары противнику во фланг и тыл. Все?..

– Товарищ Жуков, – кладя карандаш на стол, сказал Васнецов, – я полагаю, что надо уделить особое внимание району Кировского завода. Если не возражаете, я немедленно выеду на Кировский.

Никто не возражал.

– Тогда все, – сказал Жуков. – Полагаю, что главное на данный час мы решили. – Потом посмотрел на Жданова и добавил: – Если обстрел закончился, вам, Андрей Александрович, надо вернуться к себе и отдохнуть хотя бы недолго. – Он усмехнулся. – Будете сопротивляться, мы с Васнецовым оформим приказом Военного совета. Сейчас узнаю, как там наверху...

Снял телефонную трубку.

– Жуков. Как там немец наверху?

Положил трубку и, обращаясь к Жданову, сказал:

– Обстрел прекратился. Мы с Васнецовым пойдем. А вы – к себе. Спать два часа.

– Будьте добры, Георгий Константинович, нажмите кнопку звонка, – не отвечая на его слова, попросил Жданов и сказал явившемуся на вызов Кузнецову: – Соберите у меня в кабинете секретарей райкомов. – Посмотрел на часы и добавил: – И как можно скорее, пожалуйста.

9

Была еще ночь, когда Федюнинский с тремя отобранными им в штабе фронта командирами выехал из Ленинграда.

Автомашинам разрешалось двигаться по ночному, затемненному городу со скоростью, не превышающей тридцати километров в час, однако Федюнинский торопил водителя, стремясь прибыть на командный пункт Иванова до рассвета.

Он сидел на переднем сиденье «эмки» рядом с шофером, погруженный в тяжелые раздумья.

В том, что Жуков и Жданов, решив сменить командующего армией, поступили правильно, Федюнинский не сомневался. Но теперь нести ответственность за эту армию предстояло ему самому. Именно он, Федюнинский, должен был в условиях ожесточенных оборонительных боев навести порядок в управлении частями и соединениями. Уже через несколько часов Жуков не примет никаких ссылок на неправильные действия Иванова в прошлом.

Впрочем, в создавшихся условиях иначе и не могло быть...

Федюнинский сознавал, сколь сложна стоящая перед ним задача.

Если бы ему довелось ставить ее перед кем-либо другим, он сформулировал бы эту задачу так: перемалывать противника артиллерийским огнем дальнобойных морских орудий и армейской артиллерии, наносить ему удары с воздуха; вести не просто оборонительный, а активный наступательный бой; отбить у врага район Горелово – Стрельна – Урицк и ни в коем случае не дать противнику овладеть Пулковскими высотами.

Так звучал бы этот боевой приказ, и сформулировать его не составляло большого труда для любого знающего обстановку военачальника.

Но как выполнить этот приказ, если фактически отсутствует оперативная связь между командованием и частями? Как суметь в короткий срок не только восстановить управление войсками, но и добиться перелома, перехода от оборонительной тактики к наступательной, если враг ведет непрерывные атаки?

Он был опытный, боевой командир – генерал-майор Федюнинский, – участник Гражданской войны, боев на реке Халхин-Гол и недавних сражений с финнами на Карельском перешейке. Грозный рассвет 22 июня 1941 года он встретил на западной границе Украины в качестве командира стрелкового корпуса и, следовательно, уже не раз бывал в ситуациях, когда от его воли и мужества зависела судьба многих тысяч людей. Но положение, в котором Федюнинский оказался сейчас, было исключительным по той ответственности, которая возлагалась лично на него как на командующего армией, от боеспособности которой во многом зависела судьба Ленинграда.

Генерал Иванов не справился с возложенной на него задачей, растерялся. Федюнинский не мог заглушить в себе чувства жалости к Иванову, которого знал еще с довоенных времен. Это было отнюдь не сочувствие, нет, а именно чувство жалости, потому что, будучи кадровым военным, Федюнинский мог представить себе состояние генерала, смещенного за невыполнение ответственной боевой задачи.

Но по мере приближения к фронту это чувство становилось все глуше, уступая место другому, прямо противоположному.

«Как Иванов смел вопреки моему запрету перенести свой КП из района Пулкова непосредственно в город? – размышлял Федюнинский. – Ведь об этом наверняка стало известно командирам частей! О чем думают сейчас они? О том, что командование, видимо, считает невозможным отстоять Пулковские высоты? Но в чем же тогда смысл борьбы за Урицк, находящийся северо-западнее Пулкова? В чем смысл категорического приказа во что бы то ни

стало отстоять сами высоты, если командующий армией вместе со своим штабом отходит к Ленинграду?!»

Федюнинский не сомневался, что решение Иванова перенести свой КП явилось прямым следствием его растерянности и что оставлять такого человека во главе армии, от которой зависит сейчас судьба Ленинграда, было бы преступлением.

Командный пункт 42-й армии размещался теперь в подвальном помещении полуразрушенного в результате бомбежек и обстрелов дома, расположенного напротив Кировского завода. В предрассветных сумерках были хорошо видны проломы в стенах, обнаженные лестничные клетки и кое-где уцелевшие площадки комнат с сохранившейся на них домашней утварью.

Федюнинский легко установил местонахождение КП по выставленной у дома охране. Чувствовалось, что командный пункт обосновался здесь совсем недавно и оборудование его продолжается. Связисты тянули провода, из кузова стоящего неподалеку грузовика бойцы выгружали ящики полевых телефонов, пишущие машинки, походные рации...

Выйдя из машины, Федюнинский в сопровождении прибывших с ним командиров – генерал-майора и двух полковников – направился к дому.

Предъявив документы молоденькому лейтенанту с автоматом на груди, они стали спускаться в подвал.

Узкая лестница с выщербленными, покрытыми каменной пылью и кусками щебенки ступенями была тускло освещена свисающей на шнуре лампочкой.

Внизу, у плотно прикрытой металлической двери с потеками и пятнами ржавчины, стоял часовой.

Увидев спускавшихся по лестнице генералов, он вытянулся.

– Командующий у себя? – спросил Федюнинский.

– У себя, товарищ генерал, – ответил часовой и добавил: – Идет заседание Военного совета.

– Подождите здесь, – сказал Федюнинский сопровождавшим его командирам, открыл дверь и вошел.

В сыром подвальном помещении он увидел сидящих у письменного стола генерал-лейтенанта Иванова и членов Военного совета армии Соловьева и Клементьева. Склонившись над разложенной на столе картой, они о чем-то разговаривали и не заметили появившегося на пороге Федюнинского.

Некоторое время он молча стоял в дверях, обводя взглядом этот подвал, освещенный переносными лампами-временками, потом, не здороваясь, поскольку видел собравшихся здесь людей совсем недавно, спросил:

– О чем идет разговор, товарищи?

Иванов резко поднял голову и, увидев Федюнинского, встал. Лицо его было еще более усталым и осунувшимся, чем вчера, плечи опущены.

Федюнинскому показалось, что Иванов смотрит на него невидящими глазами. Однако спустя мгновение, точно поняв наконец, кто перед ним, Иванов чуть расправил плечи и сказал:

– Здравия желаю, товарищ заместитель командующего фронтом... – Снова ссутулился и устало добавил: – Значит, опять к нам?..

Попытался улыбнуться, но улыбка получилась какой-то вымученной, похожей на болезненную гримасу.

– Какой вопрос обсуждаете? – холодно переспросил Федюнинский.

– Решаем, как быть с артиллерией, – ответил Иванов. – По моему мнению, ее необходимо отвести ближе к городу. Иначе в случае прорыва артиллерийские позиции окажутся в руках противника. Мы не можем допустить, чтобы противник использовал наши пушки. Кроме того, имеются и другие причины, по которым...

Иванов продолжал говорить устало и монотонно. И чем больше аргументов приводил он в пользу отвода артиллерии с занимаемых позиций, тем сильнее охватывало Федюнинского чувство неприязни к этому генералу. Еще совсем недавно он думал о том, как нелегко будет сообщить Иванову об отстранении от занимаемой должности. Но теперь, слушая этого внутренне сломленного человека, очевидно потерявшего веру уже не только в себя, но и в возможность отстоять Ленинград, он думал о том, что его надо было освободить от командования не сегодня, а гораздо раньше.

Оборвав Иванова на полуслове, Федюнинский объявил:

– Я назначен командующим армией.

Иванов стоял ошеломленный. Раз или два открыл рот, точно собираясь что-то сказать, но не произнес ни слова. Потом обвел растерянным взглядом членов Военного совета и, снова устремив взгляд на Федюнинского, почти беззвучно спросил:

– А... как же я?

– Вам надлежит немедленно явиться в Смольный, – резко ответил Федюнинский и добавил: – Прошу пригласить сюда начальника штаба армии.

Генерал-майор Ларионов появился через минуту. Еще в дверях, видимо не узнав стоящего к нему спиной Федюнинского, которому как старшему по должности должен был бы доложить о своем прибытии, он спросил, глядя на Иванова:

– Вызывали, товарищ командующий?

Иванов молчал, сумрачно глядя в каменный пол.

Неловкое молчание нарушил Соловьев.

– Товарищ Ларионов, – произнес он неестественно громко, – к нам прибыл новый командующий армией генерал-майор Федюнинский. Докладывайте ему.

Эти слова застали начальника штаба врасплох. Он недоуменно взглянул на Иванова, но тут же сделал несколько поспешных шагов вперед, резко повернулся лицом к Федюнинскому, вытянулся и доложил:

– Начальник штаба армии Ларионов явился по вашему приказанию.

– Сдайте должность прибывшему со мной генерал-майору Березинскому, – сухо сказал Федюнинский и добавил: – Сегодня, к двадцати ноль-ноль. До этого часа лично обеспечить возврат КП армии в район Пулкова. Ясно? Генерал Березинский! – крикнул он, поворачиваясь к двери, которую Ларионов, войдя, оставил полуоткрытой.

Березинский вошел и остановился напротив Федюнинского.

Несколько секунд Федюнинский глядел прямо в лицо ему, точно заново изучая. Березинский был относительно молод, хотя на висках уже отчетливо пробивалась седина. Из-под полуопущенных век глядели внимательные, спокойные глаза.

– Товарищ Березинский, – чеканя слова, произнес Федюнинский, – с двадцати ноль-ноль вы вступаете в должность начальника штаба армии. Генералу Ларионову приказано немедленно организовать перевод КП обратно в район Пулкова. Действуйте. Прибывших с нами командиров используете в штабе по своему усмотрению. У меня все. Вы свободны.

Хотя командующий обращался к Березинскому, Ларионов понял, что последние слова относились и к нему. Он также сделал уставный поворот и направился к двери.

Когда они вышли, молчавший до сих пор член Военного совета Клементьев неуверенно сказал:

– Товарищ командующий... очевидно... в Смольном приняты еще какие-то решения... Может быть, вы нас информируете...

В это время раздался телефонный звонок. Федюнинский повернулся к столу, на котором стояли два полевых и два городских телефона, стараясь определить, какой именно из аппаратов звонит. Клементьев, поймав его взгляд, снял нужную трубку и протянул ее Федюнинскому.

Тот резким движением взял трубку, прижал ее к уху и сказал:

– Генерал Федюнинский слушает...

– Как, товарищ Федюнинский, приняли командование? – раздался в трубке знакомый голос Жданова.

– Так точно, Андрей Александрович, – ответил Федюнинский, – можно считать, что принял. Несколько минут тому назад.

– Я звоню вам, – сказал Жданов, – чтобы сообщить о только что состоявшемся решении Военного совета фронта: ни при каких условиях не оставлять рубежа Урицк – Кискино – Верхнее Койрово – Пулковские высоты. Вы поняли? Ни при каких условиях без письменного приказа Военного совета фронта не оставлять! – повторил он громче, точно сомневаясь, хорошо ли понял смысл этого решения Федюнинский. – То же самое относится к восточному флангу – к районам Шушар, Московской Славянки и Колпина. Такой же приказ передан и вашему восточному соседу. Вы меня хорошо поняли?

– Так точно, понял, – ответил Федюнинский, – но мне крайне необходимы подкрепления. И очень срочно. Я понимаю, что при создавшихся условиях получить их быстро почти невозможно, но...

– Военный совет принял решение о дополнительных формированиях. Кое-что получите уже к вечеру. Хотите передать что-либо командующему?

– Пока только то, что переносу свой командно-наблюдательный пункт в район Пулковских высот. Повторно доложу оттуда. Используя право, данное мне Военным советом фронта, произвел замену начальника штаба. У меня все.

Федюнинский попрощался, повесил трубку и, повернувшись к все еще неподвижно стоявшему Иванову, напомнил:

– Товарищ генерал-лейтенант, вас ждут в Смольном.

– Слушаюсь. Еду, – покорно проговорил Иванов и направился к двери.

Не глядя ему вслед, Федюнинский, как бы продолжая начатый разговор, сказал, обращаясь к Клементьеву:

– Информировать могу только об одном. Приказано ни при каких условиях не оставлять рубеж Пулково – Урицк. Возможно, что к вечеру получим кое-какие подкрепления. Это пока все.

– Товарищ командующий, – сказал Клементьев, – несомненно, что каждый из нас будет свято выполнять приказ. Тем не менее я считаю своим долгом предупредить вас, что располагать армейский КП в Пулково сейчас... по меньшей мере... небезопасно. Во время последних бомбежек мы потеряли там больше двух третей бойцов и командиров, оборонявших район обсерватории. Поэтому...

– Таков приказ, утвержденный командующим фронтом, – прервал его Федюнинский. – И он правилен. Потому что есть другая опасность, во много раз превосходящая ту, о которой вы говорите, – опасность, непосредственно грозящая Ленинграду. И перед ней отступает все остальное!

10

Приближался вечер, когда полковнику Королеву принесли свежие оперативные донесения из армий. Федюнинский докладывал, что северо-западнее Урицка противника удалось остановить. Однако сам Урицк после кровопролитных боев опять в руках неприятеля. Королев посмотрел на карту: от Урицка до Кировского завода по прямой всего четыре километра!

Федюнинский высказывал предположение, что противник сосредоточивает значительные силы для двойного удара по Кировскому району – с побережья Финского залива и со стороны Урицка.

На юге положение тоже было тревожным: немцы вели непрерывные атаки на Пулковскую высоту с явным намерением одновременно ворваться и в Московский район города.

Федюнинский перечислял меры, предпринятые им, но предупреждал, что положение остается крайне напряженным.

Королев взялся за другое донесение – с Балтфлота. Адмирал Трибуц докладывал, что гарнизоны полуострова Ханко и острова Осмуссар отбивают все попытки противника высадить десант. Прочно удерживают моряки и острова Койвисто, Тиурин-сари и Пий-сари, контролирующие морские подступы к Ленинграду. Артиллерия Балтфлота продолжает вести огонь по сухопутным коммуникациям противника. В то же время враг систематически обстреливает участок Финского залива между Кронштадтом и Ленинградом, ставя под угрозу связь между ними.

Наиболее благополучным было донесение из 23-й армии. Войска этой армии, взаимодействуя с морскими Балтийского флота и Ладожской военной флотилии, снова отразили все попытки врага прорвать нашу оборону на Карельском перешейке.

За окнами сгущались сумерки, хотя было еще рано, около шести часов, – день выдался пасмурный. В черной тарелке репродуктора мерно стучал метроном – Смольнинский район в эти минуты обстрелу не подвергался. Тем не менее отзвуки канонады проникали сквозь стены Смольного: враг обстреливал другие районы города.

Королев пробежал глазами донесение штаба МПВО.

В истекшие сутки вражеская артиллерия вела особенно интенсивный огонь по юго-восточной и южной окраинам города, в результате чего возникло двадцать четыре очага пожаров. По предварительным подсчетам, общее количество жертв в городе за последние двадцать четыре часа составило не менее двухсот человек. В воздушных боях было сбито шесть вражеских самолетов.

Королев опустил шторы на окнах – со стуком упали деревянные планки, потянув за собой плотную синюю светомаскировочную ткань, – зажег настольную лампу и снова склонился над донесениями.

Скрипнула дверь.

– Разрешите?..

Королев поднял голову и увидел на пороге... Звягинцева!

Несколько мгновений Королев, уже почти два месяца не имевший известий от майора и уверенный, что его нет в живых, растерянно смотрел на высокого, худощавого человека в мятой солдатской гимнастерке явно не по росту, со «шпалами» в петлицах. Потом резко поднялся, с грохотом отодвинув кресло, и бросился навстречу.

– Алешка?! Жив?!

Он схватил Звягинцева за плечи, притянул к себе...

– Ну, докладывай, черт собачий, откуда взялся, почему вестей о себе не подавал? – взволнованно говорил Королев, ведя Звягинцева к столу.

Он усадил майора в кресло, сам сел в другое, напротив, снова оглядел его с головы до ног, точно еще не веря самому себе, и проговорил:

– Значит, жив... вот здорово! А я в августе два раза со штабом Лужской группы связывался, отвечали – переброшен с пехотой на правый фланг, а после Кингисеппа и совсем след потерял... Да что ты молчишь, язык у тебя есть или нет? Давай рассказывай!

– Что ж тут рассказывать, Павел Максимович, – устало улыбаясь, заговорил наконец Звягинцев. – С десятого августа по санбатам болтался. Потом в госпиталь... Вчера вечером выписали. Пока до города добрался...

– Эх тебя вырядили, – пробормотал Королев, критически оглядывая Звягинцева, – сразу видать, что из госпиталя. – Да постой, – спохватившись, воскликнул он, – значит, ты ранен был?

– В ногу, – нехотя ответил Звягинцев.

– Сильно? – участливо спросил Королев, оглядывая его ноги, обутые в кирзовые с широкими голенищами сапоги.

– Да нет, ерунда... Просто долго не заживало. А так все в норме. – Звягинцев снова улыбнулся и добавил: – Годен к строевой.

– Вот мне как раз и нужны такие, – сразу став серьезным, сказал Королев. Побарабанил пальцами по краю стола и продолжал решительно: – Вот что, сыпь-ка сейчас в кадры, я с начальством договарюсь, чтобы тебя в штат оперативного зачислили. Вакансия есть, а ты готовый направиленец. И войну теперь знаешь не только, как говорится, сверху, из штаба, но и снизу, с передовой.

– Я теперь строевой командир, товарищ полковник, – твердо ответил Звягинцев. – Перед ранением фактически командовал батальоном.

– Что ж тебе теперь – полк или дивизию подавать? – с явным недовольством произнес Королев. – Ты положение под Ленинградом на сегодня знаешь?

– Только по слухам. Хотел просить вас, товарищ полковник, в общих чертах ориентировать.

– Ладно, – угрюмо сказал Королев, встал и направился к карте. – Иди сюда, – бросил он Звягинцеву, не оборачиваясь. – Вот смотри. Со второй недели сентября деремса уже в блокаде. Восьмая армия фактически отрезана на побережье. Стрельна захвачена врагом. Немцы в Слуцке, Красном Селе, Урицке.

– И... на Пулковских высотах? – с волнением спросил Звягинцев.

– Нет. Пулковские держим.

Королев вытащил из брюк пачку «Беломора», протянул ее Звягинцеву, взял папиросу себе, похлопал по карманам в поисках спичек и пошел к письменному столу – коробка со спичками лежала там.

В этот момент дверь кабинета распахнулась и в комнату вошел Жуков.

Королев торопливо бросил в пепельницу так и не зажженную папиросу, вытянулся, но едва успел произнести только два слова: «Товарищ командующий...» – как Жуков прервал его:

– Еду к Федюнинскому. Что там у вас нового на последний час?

– Готовлю сводку, товарищ генерал, – поспешно ответил Королев, – вот, если желаете ознакомиться...

Он хотел подать командующему лежащие на столе листки донесений, но Жуков остановил его:

– Нет времени читать. Доложите главное. И покороче.

– Слушаюсь, – снова вытягиваясь, проговорил Королев. – Коренных изменений за последние часы не произошло. Противник пытается захватить Пулковские высоты. Атаки отбиты. Усилился огонь по правому флангу пятой дивизии народного ополчения. Федюнинский считает, что противник готовит удар по Петергофу.

– Что он, с фон Леебом чай пил, что ли? – нахмурился Жуков.

Он стоял в двух шагах от Королева, широкий, большеголовый, расставив короткие ноги в плотно обтягивающих икры сапогах, и, казалось, заполнил собой всю комнату.

– Где Бычевский? – спросил он.

– Насколько мне известно, товарищ командующий, полковник Бычевский еще с вечера отправился в сорок вторую.

– Я хочу знать, готов ли оборонительный рубеж по Окружной дороге?

– Насколько мне известно...

– Меня не интересуют ваши «насколько» и «поскольку»! Я хочу знать, сможет ли дивизия занять ночью эти рубежи?! «Насколько мне известно»!.. А мне известно одно: если не успеем занять оборону по Окружной, то немцы завтра могут ворваться в город! Найдите Бычевского и передайте, чтобы связался со мной немедленно!

Несколько мгновений Жуков прислушивался к доносившимся издали глухим артиллерийским разрывам.

– По каким районам бьют? – отрывисто спросил он.

– Имею лишь данные за истекшие сутки. – Король поспешно схватил со стола донесение МПВО, которое читал перед приходом Звягинцева, протянул его Жукову.

Тот взглянул на листок и уже готов был бросить его обратно на стол, но внезапно, видимо под влиянием какой-то пришедшей ему в голову мысли, снова поднес листок к глазам.

– Так... – задумчиво произнес он и направился к расположенным на квадратном столике телефонам. – Где у вас прямой со штабом МПВО?

Король указал на один из аппаратов.

Командующий снял трубку.

– Говорит Жуков. По каким районам бьют?

Несколько секунд молча слушал. Потом сказал:

– Ладно. У меня все.

Положил трубку на рычаг и обернулся к Королеву:

– А ну, дайте еще раз это донесение.

Внимательно перечитал и как бы про себя отметил:

– По Ижорскому и Кировскому бьют... И вчера и сейчас...

Потом поднял голову и проговорил:

– Понял замысел?

– Я думаю... – начал было Король, но Жуков прервал его:

– Вот и я думаю!.. Ладно. Еще раз напоминаю: пусть Бычевский немедленно со мной свяжется.

Он повернулся к двери и только тут заметил прижавшегося к стене Звягинцева. Смерил его взглядом с ног до головы, строго спросил:

– Кто такой?

То, что этот генерал является командующим фронтом, Звягинцев понял из разговора сразу же. «Но как же Ворошилов? Значит, маршал уже не командующий?» – недоуменно думал он.

Лицо генерала показалось Звягинцеву знакомым, хотя он никак не мог вспомнить, где и когда видел его.

Резкий вопрос командующего привел Звягинцева в замешательство. Выручил Король – доложил за него:

– Майор Звягинцев из нашего инженерного управления...

– А чего здесь болтается, раз инженер? – прервал его Жуков.

– Товарищ командующий! – обретя вдруг дар речи, громко и даже с вызовом проговорил вытянувшийся в положение «смирно» Звягинцев. – Я болтаться привычки не имею. Выполнял

боевое задание на Лужской линии. Получил ранение. До выезда на фронт был прикомандирован к оперативному отделу. Поэтому из госпиталя явился сюда.

Королев слушал Звягинцева и в душе клял его на чем свет стоит. Уверенный, что сейчас разразится буря, он из-за спины Жукова делал отчаянные знаки. Но, вопреки его опасениям, Жуков спросил почти добродушно:

– Из госпиталя?.. То-то они тебя вырядили, как чучело огородное. Куда угодило?

– В ногу.

– Осколочное, что ли?

– Так точно.

Уловив явную перемену в тоне командующего, Королев сказал:

– Вот, товарищ командующий, не хочет в штабе работать, опять в строй просится!

– А ну, пройди по комнате! – приказал Жуков Звягинцеву.

Звягинцев сделал несколько шагов, слегка припадая на левую ногу.

– Шкандыбаешь, – усмехнулся Жуков и обернулся к Королеву: – Пошлете его на Кировский завод. Ясно?

– Так точно! – поспешно ответил Королев.

– Товарищ командующий! – чувствуя, как загорелось от обиды лицо, воскликнул Звягинцев. – Разрешите обратиться. При чем тут завод? Я прошу... настаиваю, чтобы меня послали на фронт. Я знаю, в частях большая убыль командного состава... Я...

– Отставить! – оборвал его Жуков. – «Я знаю»! А то, что в районе Кировского из пулеметов стреляют, это ты знаешь? А что от Кировского до Дворцовой площади танку полчаса ходу, ты знаешь?!

Он пошел к двери и уже с порога бросил:

– Сегодня же направить на Кировский!

Некоторое время в комнате царил молчание, нарушаемое лишь мерным стуком метронома.

Наконец Королев заговорил:

– Я думаю, ты все понял. Это новый командующий фронтом генерал армии Жуков.

«Жуков! – вспомнил Звягинцев. – Ну конечно же я видел его тогда в Кремле, на совещании...»

– А где же маршал? – спросил он.

– Отозван в распоряжение Ставки.

– Павел Максимович, ты прости меня, – взволнованно проговорил Звягинцев, – понимаю, не мое дело обсуждать... Но скажи откровенно... Что же, он... лучше Ворошилова?

Королев медленно прошелся по комнате. Остановился напротив Звягинцева.

– Знаешь, Алексей, хотя действия старших начальников никогда с подчиненными не обсуждаю, но на этот раз... сделаю исключение. Сядь.

Он подождал, пока Звягинцев сядет у стола, сам сел напротив и продолжал задумчиво, как бы размышляя вслух:

– Понимаешь, сам уяснить хочу. Тут такое дело случилось. В первый же день, как он приехал, попался я ему под горячую руку. Подробно рассказывать нет времени. Словом, думал, разжалует, рядовым на фронт пошлет – у него это запросто. Но обошлось...

– Но разве у него есть право?.. – недоуменно начал было Звягинцев.

– Обстановка дает право, Алексей! – с горечью в голосе прервал его Королев. – Враг под Ленинградом стоит, погнать его вспять пока не удастся. Наоборот, сами ежечасно под угрозой вторжения живем. И вместе с тем есть перемены при новом командующем, есть, – продолжал Королев, и чувствовалось, что он хочет и себе ответить на вопрос, над которым в горячке дел ему некогда было задуматься. – Перемены эти прежде всего в том, что Жуков потребовал изменить тактику. Раньше, что греха таить, закопаемся в землю, и, если противник молчит,

мы и рады. Он в атаку, мы – «стоять насмерть, ни шагу назад». А теперь иначе. Немец лезет – защищайся. Затих, перестал атаковать – не жди, не радуйся передышке, атакуй сам. Это не только новая тактика. Это... иная психология, если хочешь знать! Вот чего требует новый командующий. Хочешь сказать – резок? Согласен, резок, иной раз жесток даже. Но...

Королев задумался, стараясь точнее сформулировать свою мысль, взял папиросу, затянулся и продолжал:

– Утверждать, что новый командующий все, так сказать, с ног на голову поставил, словом, все отменил и какой-то новый сверхплан предложил, не могу. В общем-целом он действует в том же направлении, что и старый. Приказы прежние не отменял, хотя, разумеется, и много новых отдал. Это, так сказать, с одной стороны... А с другой – есть новое! Что именно, спросишь? Отвечу так: точность, категоричность, последовательность. Никаких тебе дискуссий, никаких накаток. Не исполнишь приказ – худо будет.

– И тем не менее он сам сказал, что немцы могут ворваться в город.

– Да. Они вышли к окраинам, – внезапно упавшим голосом сказал Королев.

– Послушай, Павел Максимович, – наклоняясь к Королеву, тихо заговорил Звягинцев, – мы с тобой военные люди. И оба коммунисты. Положение под Ленинградом катастрофическое, так?

– Так... – почти беззвучно ответил Королев.

– Теперь скажи мне искренне – ты знаешь, я не трус и, пока дышу, с врагом буду драться... И все же скажи: есть надежда?

Королев резко выпрямился, как от удара.

– Ты... ты что это такое спрашиваешь?! – сквозь зубы процедил он.

– Я видел карту, Павел Максимович...

– А-ах, ты карту видел?! – с бешенством повторил Королев. – Да как же можно только по карте судить! – Лицо Королева покраснело, жилы на висках надулись. – Навалился по санбатам да госпиталям, – крикнул он, – боевого духа армии не знаешь!

Он вскочил, сделал несколько быстрых шагов назад и вперед по кабинету и уже спокойно, однако с усмешкой сказал:

– Противоречие в моих словах имеется вроде? С одной стороны, положение – на волоске, а с другой – вера и надежда? Да, с точки зрения формальной логики, может быть, и противоречие! Но по этой паршивой логике фриц уже давно в Москве и в Ленинграде быть бы должен. А его там нет! И не будет! Пусть после победы историки разбираются, как, что и почему.

Королев умолк, потом взглянул на часы и растерянно сказал:

– Что же мы, черт возьми, делаем? Двадцать минут прошло с тех пор, как командующий приказал... Слушай, Алексей, тебе надо немедленно отбывать на Кировский...

Королев решительно поднялся.

– Павел Максимович, – тоже вставая, сказал Звягинцев, – разреши только два слова. Знаю, ты можешь накричать на меня, выгнать. Понимаю, сам командующий приказал... Но ручаюсь, он забыл обо мне, как только вышел из этой комнаты. Прошу тебя, как друга, как старшего товарища: пошли меня в действующую часть. Ладно, согласен, командовать еще не могу, хромаю, нога проклятая... Но пошли хотя бы дивизионным инженером. Или полковым. Не доверишь – снова в саперный батальон пошли. Прошу тебя, ради дружбы нашей сделай это!

– Отставить! – резко произнес Королев. И потом, уже мягче сказал: – Не только в том дело, Алексей, что командующий приказал. Дело в том, что он прав. Иди сюда!

И Королев направился к длинному столу, на котором были разложены карты. Он отыскал нужную и сказал Звягинцеву:

– Гляди. Вот район Кировского. А вот здесь уже враг. Масштаб видишь? Кировский не просто завод, а главный наш танковый арсенал. На другие фронты танки отправляем по Ладоге! Понял? Немцы вторые сутки беспрестанно бьют по Кировскому и по Ижорскому.

Ижорский танковую броню поставляет для Кировского. Значит, у противника замысел вывести эти заводы из строя. Понял, что к чему? Но это еще не все. Кировский завод не только наш арсенал, но и важнейший узел обороны. По крайней мере, должен быть таким. Нужно осмотреть, проверить все тамошние оборонные сооружения, помочь построить дополнительные. И сделать это должен именно ты. У тебя опыт не только инженера, но и общевойскового командира! Будешь представлять штаб фронта, понял? Теперь слушай: отсюда пойдешь в инженерное управление. Скажешь, что получил приказ от меня. И на командующего тоже можешь сослаться. Потом в кадры зайдешь. Впрочем, я сейчас позвоню...

Звягинцев молча стоял у стола.

– Давай, Алексей, действуй, – уже сердито заторопил его Королев.

– Слушаюсь, – ответил Звягинцев и сделал уставный поворот.

– Стой! – внезапно сказал Королев. – Говори как на духу: долечился или удрал из госпиталя?

– Товарищ полковник...

– Ладно. Выяснять не буду. Не то время. Все. Иди оформляй документы.

Звягинцев направился к двери.

Королев угадал: майор уговорил врача выписать его из госпиталя досрочно, заверив, что будет работать в штабе, далеко от передовой. Сейчас он пытался идти твердой походкой, с отчаянием сознавая, что припадает на левую ногу...

Звягинцев уже взялся за ручку двери, когда Королев снова окликнул его:

– Подожди!

Звягинцев застыл в страхе, что сейчас будет отменено и это назначение и вместо Кировского завода придется идти на медицинское переосвидетельствование.

Но Королев, подойдя к нему, спросил, смущенно покрутив в пальцах папиросу:

– Послушай, Алексей... Я ведь тот наш последний разговор помню. Она... Вера-то... вернулась ведь в Ленинград, выбралась! Видел ее?

Звягинцев ожидал всего, чего угодно, но не разговора о Вере. И теперь едва сдержался, чтобы не спросить, где теперь Вера, как ее здоровье, вспоминала ли она хоть раз о нем... Но заставил себя промолчать. «Нет, нет, нет! – мысленно приказал себе Звягинцев. – С этим все кончено». Те же слова он молча твердил, беспомощно лежа на носилках там, в лесу... Он понял тогда, что радость Веры от встречи с ним не шла ни в какое сравнение с той радостью, с тем счастьем, которое отразилось на ее лице при вести, что Анатолий жив и находится в Ленинграде. Тогда Звягинцев в первый раз сказал себе: «Нет. С этим кончено». И эти же слова он мысленно повторил сейчас.

– Я из госпиталя направился прямо сюда, – сухо ответил он Королеву. – Была попутная машина. Даже к себе на квартиру не заходил.

Королев несколько удивленно взглянул на него.

– Вот оно как!.. Ладно. Ты прав. Для личных дел сейчас времени нет. Ну, бывай! – Он переложил папиросу в левую руку, а правую протянул Звягинцеву.

Прихрамывая, Звягинцев медленно шел по гулким коридорам Смольного.

«Кировский завод – узел обороны!.. – с горечью думал он. – Кто же будет оборонять его? Ведь немцы проникнут туда лишь в том случае, если фронт, который держит сейчас сорок вторая армия, будет прорван! Кто же тогда сможет остановить их у Кировского? Отступающие войска? Или сами рабочие? Но, наверное, те из них, кто в состоянии держать оружие в руках, давно ушли в ополчение. Даже старик Королев где-то на фронте...»

Подумав об Иване Максимовиче Королеве, которого последний раз он видел в ополченской дивизии на Лужской оборонительной линии, Звягинцев мгновенно вспомнил двух других людей, с которыми разлучила его судьба: Суровцева и Пастухова.

Лежа на госпитальной койке, он не раз вспоминал о них, расспрашивал каждого нового раненого, не встречал ли кто, случаем, командиров с такими фамилиями...

Знай Звягинцев, где они сейчас, он уговорил бы Королева послать их как специалистов-саперов вместе с ним на Кировский. Впрочем, что об этом думать! Живы ли они?..

В ушах Звягинцева еще звучало эхо боев на Луге.

Оказавшись в санбате, а потом в госпитале, он, раньше столь хорошо осведомленный о положении дел на фронте, теперь был вынужден черпать информацию лишь из газет, радиопередач и сбивчивых, часто противоречивых рассказов раненых – соседей по палате.

И, входя в кабинет полковника Королева, он еще не подозревал, что кратчайший путь к фронту пролегает по улице Стачек и что седьмая от Кировского завода трамвайная остановка находится уже на территории, занятой врагом.

То, что Звягинцев услышал от Жукова и Королева, потрясло его.

На карте он ясно увидел, что район Кировского завода действительно стал фронтовым.

И тем не менее не мог себе этого реально представить.

В памяти Звягинцева и Нарвская застава и улица Стачек оставались такими, какими он видел их в конце июня. Тогда этот рабочий район Ленинграда выглядел мирным и оживленным, хотя из ворот Кировского завода выползали танки, окна домов, как и повсюду в городе, были заклеены крест-накрест узкими полосками бумаги, а на площадях и в скверах люди рыли траншеи-укрытия на случай воздушных налетов.

Но тротуары, как и в мирные дни, были заполнены спешившими по своим делам людьми, позвякивали трамваи, на стендах Дома культуры висели объявления о предстоящих лекциях и концертах.

Да и сам Кировский завод-гигант привычно воспринимался прежде всего как глубоко мирное предприятие, хотя в силу своего служебного положения Звягинцев знал, что еще накануне войны завод начал перестраиваться на выпуск продукции оборонной – тяжелых танков «КВ» и артиллерийских орудий.

И вот теперь, после всего того, что он слышал в кабинете Королева, Звягинцев старался представить себе, что же происходит на Кировском заводе и в его окрестностях.

В коридоре Звягинцеву встретился бывший сослуживец по штабу фронта. Он спешил, но остановился, спросил, где майор был, куда ранен.

Тот отвечал неохотно, односложно, словно чувствуя за собой вину за то, что почти месяц провалялся в госпитале.

Звягинцев пошел в отдел инженерных войск. Там ему сказали, что звонил Королев и передал приказание командующего фронтом.

В отделе кадров тоже знали, куда и зачем надлежит ему отправиться, – командировочное предписание было отпечатано и передано на подпись начальнику штаба.

Звягинцев посмотрел на часы – стрелки показывали десять минут восьмого. Он вспомнил, что с утра ничего не ел.

И хотя есть Звягинцеву не хотелось, он решил спуститься в штабную столовую, чтобы хоть немного перекусить. Продовольственный аттестат лежал у него в кармане, но становиться на учет в АХО штаба фронта уже не было смысла.

В этот неурочный час в столовой было пусто. Звягинцев сел за столик. Подошла официантка и вопросительно посмотрела на него:

– Талон на ужин, товарищ майор.

Звягинцев растерянно ответил, что талонов у него нет. Официантка, пожав плечами, сказала, что без талонов кормить не имеет права.

В это время мимо проходила другая официантка, знакомая Звягинцеву еще с довоенных времен. Звягинцев подозвал ее, и она объяснила, что порядки в столовой изменились,

потому что карточные нормы в городе сильно урезаны. Без талонов теперь разрешается отпускать только чай без сахара.

– Что ж, – покорно сказал Звягинцев, – значит, придется попоститься.

Он встал и направился к выходу.

– Вы, никак, ногу зашибли, товарищ майор, – сказала ему вслед официантка. – Ой, да вы, наверно, ранены?..

Она заставила Звягинцева снова сесть, куда-то убежала и, вернувшись, победно сообщила, что начальник столовой разрешил в порядке исключения накормить раненого майора за наличный расчет.

«Вот я и начинаю извлекать выгоды из своего ранения, – с невеселой усмешкой подумал Звягинцев. – В строй не пускают, зато как инвалида без талонов кормят...»

Он проглотил несколько ложек супа, с трудом разжевал кусочек сухого, жилистого мяса, поблагодарил официантку и снова пошел в отдел кадров.

Его командировочное предписание было уже оформлено. Вручая Звягинцеву документ, работник отдела кадров посоветовал выяснить, когда в район Кировского завода пойдет какая-нибудь машина.

Звягинцев посмотрел на часы. Было восемь вечера. «Может, все-таки заскочить домой? – подумал он, но тут же сказал себе: – Зачем?»

И в самом деле, зачем ему было ехать в пустую холостяцкую комнату, куда он не заглядывал с тех пор, как получил приказ выступить с батальоном на Лужскую линию?

«Не поеду», – решил Звягинцев и направился в диспетчерскую.

...Штабная «эмка», к ветровому стеклу которой были прикреплены с внутренней стороны несколько пропусков – на передвижение после комендантского часа, на проезд во время обстрела и воздушной тревоги, на выезд в прифронтовую полосу, – мчалась по затемненному городу к Нарвской заставе, и водитель лишь время от времени освещал путь короткими вспышками окрашенных в синий цвет фар.

Положив свой чемоданчик и шинель рядом с водителем и расположившись на заднем сиденье – там удобнее вытянуть больную ногу, – Звягинцев то и дело поворачивал голову, стараясь разглядеть улицы, по которым они проезжали.

Шел только одиннадцатый час, но улицы были совершенно пустынными. Да и громады домов с черными, затемненными изнутри окнами казались нежилыми.

Призрачный свет фар на мгновение выхватывал из темноты прилепившиеся к угловым домам, похожие на огромные утюги доты, нагромождения мешков с песком, прикрывающие витрины магазинов, и снова все погружалось в сумрак.

Звягинцев почувствовал, что его охватывает тревожное волнение. «Что это со мной?» – подумал он и попытался объяснить свое состояние тем, что через какие-нибудь десять-пятнадцать минут ему предстояло прибыть к месту нового назначения.

Но Звягинцев обманывал себя и знал, что обманывает. Просто машина ехала теперь по улице, где жила Вера.

Он опять сказал себе: «Нет, нет, нет!», но чувствовал, что какая-то непреодолимая сила заставляет его прильнуть лицом к стеклу кабины.

Машина поравнялась с Вериным домом. В темноте он увидел лишь смутные его очертания. Как и соседние здания, дом казался брошенным людьми, нежилым. Ни одного луча света не пробивалось из мертвых окон.

Звягинцев мысленно представил себе знакомый подъезд, лестницу, дверь на втором этаже, ярко освещенную комнату, в которой увидел себя, Анатолия, Веру... Воспоминания властно овладели им.

Машина уже давно миновала Верин дом, а Звягинцев все не мог заставить себя не думать о прошлом. «Нет, нет, нет!» – убеждал он себя, боясь, что сейчас прикажет шоферу повернуть назад.

Внезапно Звягинцев почувствовал толчок. Машина, скрипнув тормозами, резко остановилась.

– Все, товарищ майор, приехали – улица Стачек! – сказал, оборачиваясь к Звягинцеву, водитель. – Мне теперь налево сворачивать нужно, а вам если на завод, то прямо.

– Спасибо, – сказал Звягинцев, берясь за ручку двери.

– Вещички ваши... – Шофер протянул ему дерматиновый чемоданчик и выдавшую виды, прожженную в нескольких местах шинель.

Звягинцев взял вещи, вышел из машины и шагнул в темноту.

– Прямо, прямо идите! – крикнул ему вслед шофер.

Звягинцев стоял в темноте, пытаясь сориентироваться. Теперь он слышал далекую перестрелку и глухие артиллерийские разрывы.

Но это не удивило Звягинцева, – он уже знал, что линия фронта проходит недалеко отсюда.

Поразило другое: здесь почему-то было гораздо темнее, чем на других улицах города. Он взглянул на небо в надежде увидеть звезды, но не увидел не только звезд, а и самого неба. Ему казалось, что он находится в каком-то странном туннеле.

Прошло несколько минут, прежде чем Звягинцев догадался, что улицу прикрывает сплошная маскировочная сеть. Потом привыкшие к темноте глаза различили расположенные по обе стороны тихие и, казалось, вымершие дома.

Звягинцев не мог понять, где он находится, хотя хорошо знал этот район, не раз бывал здесь до войны. Он мучительно старался вспомнить, как же выглядели эти места раньше, чтобы сориентироваться и определить, где расположен завод.

Ругая себя за то, что не захватил электрического фонарика, он неуверенно продвигался по узкому проходу между противотанковыми заграждениями.

Новый, незнакомый, грозный мир окружал его.

«Но где же все-таки завод?» – думал Звягинцев, напряженно вглядываясь в темноту.

Он сделал еще несколько десятков шагов и увидел впереди какое-то сооружение, похожее на заводской забор. Однако, подойдя ближе, Звягинцев понял, что это не забор, а перегородивающая улицу баррикада. В центре баррикады стоял трамвай. Окна его были завалены изнутри мешками с песком, по обе стороны вагона тянулись высокие завалы, нагромождения из таких же мешков, бетонных плит, обломков рельсов, металлических балок...

Звягинцев свернул в сторону, отыскивая проход в баррикаде. Внезапно в глаза ему ударил луч фонарика и раздался резкий окрик: «Стой! Кто идет?» В первое мгновение ошеломленный, Звягинцев тут же почувствовал облегчение оттого, что он здесь не один.

– Майор Звягинцев из штаба фронта, – ответил он.

– Попрошу документы, товарищ майор! – проговорил кто-то, невидимый в темноте.

Послышались шаги приближающихся людей.

Теперь перед Звягинцевым стояли трое военных. Ближайший к нему был в плащ-палатке и в металлической каске, силуэты двух других, остановившихся поодаль, едва угадывались.

Поставив свой чемоданчик на землю и бросив на него шинель, Звягинцев расстегнул нагрудный карман гимнастерки и вынул служебное удостоверение, в которое было вложено командировочное предписание.

– Игнатьев, посвети! – приказал военный в каске.

Один из бойцов подошел, поднял полу шинели и, прикрывая ею фонарик, включил свет.

Нагнувшись к свету, тот, что был в каске, внимательно прочитал документы Звягинцева, аккуратно вложил предписание обратно в книжечку, протянул ее Звягинцеву и представился:

– Начальник заставы лейтенант Чумаков.

– Что, далеко тут до фронта? – спросил Звягинцев.

– До фронта? – с обидой в голосе переспросил Чумаков. – А тут и есть фронт, товарищ майор.

Звягинцев понимал, что лейтенант несколько преувеличивает, что фронт проходит впереди, а тут подготовленные на случай уличных боев укрепленные рубежи. Но в общем-то обстановка здесь действительно мало отличалась от фронтовой.

– Помогите, товарищи, добраться до Кировского, – попросил Звягинцев. – С начала войны в этих местах не был. В темноте ничего не разглядеть.

– Так и задумано, товарищ майор, – удовлетворенно ответил лейтенант. – У нас тут со светомаскировкой дело строго поставлено.

Обернулся и сказал:

– Игнатьев! Проводишь представителя штаба до второй заставы. Счастливого пути, товарищ майор. Поосторожнее идите, – добавил лейтенант уже менее официально, – он тут тяжелые кидает...

– За мной идите, товарищ майор, – деловито сказал боец, которого лейтенант назвал Игнатьевым.

Некоторое время они шли молча. Звягинцев думал о том, что если после прорыва немцев у Кингисеппа в газетах и по радио зазвучали слова: «Враг у стен Ленинграда», – то теперь враг на пороге города, на самом его пороге!..

– Кто на баррикадах, товарищ Игнатьев? – спросил Звягинцев идущего в двух шагах впереди связного. – Бойцы?

– Пока только боевое охранение. Ну... посты. Будет команда – рабочие в течение часа займут все позиции. А пока только посты. Большей частью из коммунистов и комсомольцев.

– А сам-то коммунист? – поинтересовался Звягинцев.

– Позавчера в кандидаты вступил. Прямо тут, на заставе, бюро заседало. Выходит, теперь партийный.

– Поздравляю, – сказал Звягинцев и, помолчав, спросил: – До завода-то еще далеко шагать?

– До завода? – переспросил тот, не замедляя шага. – Да еще километра с полтора будет. Сначала до второй заставы дойдем, а там уж вам до проходной провожатого дадут.

В этот момент где-то впереди с грохотом разорвался снаряд. Звягинцев инстинктивно пригнулся, но тут же выпрямился, радуясь, что шагающий впереди боец не заметил его испуга.

– Опять по заводу начал бить, язви его душу! – донесся до Звягинцева голос Игнатьева. – Теперь часа на два заладит.

– И что, прямые попадания были? – спросил, нагоняя его, Звягинцев и тут же подумал, что вопрос его нелеп.

– Спрашиваете, товарищ майор! – отозвался Игнатьев. – Считаю, ни одного корпуса нетронутого не осталось...

Снова там, впереди, раздался грохот разрыва. Откуда-то из темноты прозвучал голос радиодиктора:

– Граждане, район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение по улицам прекратить! Населению немедленно укрыться!..

Быстро застучал метроном.

– «Населению...» – с горечью повторил Игнатьев. – Да тут и населения-то никакого почти не осталось! Кировцы давно уже на казарменном живут... Вы что же, товарищ майор, не бывали разве в наших местах?

– Вы же слышали, я говорил лейтенанту, что не был тут с конца июня, – с некоторым раздражением ответил Звягинцев: ему показалось, что боец принимает его за необстрелянного

тылового командира. Но тут же, поняв неуместность своей обиды, добавил: – Я и в Ленинграде-то полтора месяца не был. На Луге воевал, потом в госпитале провалялся.

– В ногу? – понимающе спросил Игнатьев.

– В ногу.

– А я-то чуть не бегу. Вам небось тяжело за мной поспевать?

Игнатьев пошел медленнее.

Снова один за другим прогремели разрывы, сопровождающиеся грохотом обвалов и каким-то скрежетом, точно в массу металла с силой вошло гигантское сверло. Маскировочная сеть над улицей стала медленно розоветь: очевидно, неподалеку вспыхнул пожар.

Игнатьев остановился.

– Может, переждем обстрел, товарищ майор? – неуверенно спросил он Звягинцева. – Сюда осколки запросто долететь могут. Попадет мне, если я вас целым до следующей заставы не доведу.

– Ничего, я уже осколком отмеченный, – усмехнулся Звягинцев. – Пошли.

Их окликнули: очередная проверка документов. На этот раз проверяющие были в гражданской одежде: один – в стеганке, другой – в доходящей до колен брезентовой куртке. Оба с винтовками в руках.

– Теперь уже скоро вторая застава будет, – сказал Игнатьев. – Еще метров тридцать – и застава... Можно спросить вас, товарищ майор? – И, не дожидаясь ответа, продолжал: – Вы вот из штаба фронта будете. Как полагаете, удастся нам остановить здесь врага?

Именно об этом думал и сам Звягинцев, идя за Игнатьевым.

– Надо остановить, – угрюмо ответил он и добавил: – Иначе Ленинграду конец.

Последние слова вырвались у Звягинцева помимо воли. «Черт знает что говорю! – со злобой на самого себя подумал он. – Панику сею».

– Ну, этого-то быть не может, товарищ майор, – спокойно и уверенно ответил Игнатьев, – чтобы Ленинграду конец.

– Вот и я считаю, что не может этого быть! – твердо сказал Звягинцев. – Значит, мы обязаны здесь немца задержать. Чего бы нам это ни стоило.

Из темноты снова раздался командный оклик.

Звягинцев остановился.

Игнатьев сделал несколько шагов в сторону и стал докладывать кому-то, невидимому в темноте, что по приказанию начальника первой заставы сопровождает майора.

Кто-то приказал:

– Товарищ Ратницкий, доведите майора до проходной!

Через мгновение Игнатьев возник из темноты и, поднеся руку к пилотке, спросил:

– Разрешите возвратиться, товарищ майор?

– Можете идти, товарищ Игнатьев, – сказал Звягинцев. – Спасибо.

Он испытывал чувство симпатии к этому спокойному, уверенному бойцу.

К Звягинцеву подошел человек в гражданской одежде, с винтовкой на ремне.

– Ратницкий, – представился он. – За мной идите, товарищ майор.

«Наверное, из рабочих-ополченцев», – подумал Звягинцев. Он не успел даже разглядеть очередного провожатого.

Ратницкий быстро зашагал вперед. Звягинцев, прихрамывая, едва поспевал за ним.

– Не беги так. Далеко еще идти-то? – спросил он.

– Дальность – понятие относительное, – ответил, не оборачиваясь, Ратницкий. – В абсолютных цифрах метров четыреста. На трамвае – одна остановка. Но сейчас ситуация, как видите, изменилась, и трамваи здесь не ходят.

Звягинцев смутился. Он обратился к сопровождающему таким тоном, каким командир обычно обращается к рядовому бойцу, но уже по первым словам этого Ратницкого понял, что ошибся.

– Простите, – сказал Звягинцев, – вы что же, несете службу в ополчении?

– Нет, в ополчение не взяли, – отозвался Ратницкий, – есть такое малопочтенное в военных условиях понятие: «броня». Работаю на заводе.

Звягинцев хотел спросить, кем именно тот работает, но где-то снова загрохотали разрывы. Теперь они звучали глухо, точно гром проходящей стороной грозы.

– Это, по-видимому, у немцев... – полувопросительно произнес Звягинцев.

– Совершенно верно, – сказал Ратницкий. – Это ведет огонь наша морская дальнбойная артиллерия. Корабли Балтфлота. Мы уже привыкли. Как только немцы начинают обстреливать район завода или вообще город, корабли открывают огонь на подавление. Впрочем, извините. Вы все это, конечно, знаете лучше меня.

Звягинцев промолчал, потому что как раз этого-то он не знал.

Сверху донеслось подвывающее гудение мотора.

– Летает... – тихо, точно про себя, заметил Ратницкий.

На этот раз Звягинцев не нуждался в пояснениях. Вражеские самолеты он отличал на слух.

– «Рама», – сказал он.

Где-то там, в высоте, разорвалась ракета, и свет ее на несколько мгновений рассеял темноту. Звягинцев отчетливо увидел маскировочную сеть над головой, надолбы, баррикады и сторожевые вышки – все это на какое-то время приобрело осязаемую реальность...

До того как ракета погасла и все снова погрузилось во тьму, Звягинцев успел заметить, что в нескольких метрах от них начинается высокий забор, огораживающий территорию Кировского завода.

11

Еще шестого сентября Риббентроп объявил на пресс-конференции в Берлине, что окруженный Петербург падет если не в ближайшие часы, то завтра или послезавтра. Но прошел день, второй и третий, прошла неделя, потянулась другая, а Ленинград по-прежнему оставался советским.

Всего десять с небольшим километров отделяли передовые части фон Лееба от Дворцовой площади, на которой, по замыслу Гитлера, должен был состояться парад победителей. Миллионы людей во всем мире знали по немецким военным сводкам, что корпус Рейнгардта уже на окраинах города. Каждое утро, включая свои приемники, они ожидали услышать сообщение, что знаменитый город на Неве пал.

Но Ленинград оставался советским, хотя враг стоял у его порога.

И миллионам людей за рубежом казалось необъяснимым, почему солдатам фюрера не удастся перешагнуть этот порог. Они не знали, что блокированный Ленинград, подвергаемый почти непрерывным обстрелам и бомбежкам, тем не менее оказывал столь жестокий отпор врагу, что немцы были не в состоянии сломить это сопротивление.

Однако ни офицеры, ни генералы, командовавшие десятками тысяч солдат, рвущихся к Ленинграду, еще не осознавали этого. Опьяненные близостью цели, они были уверены, что лишь решающее усилие отделяет их от победы, что с часу на час защитники города, истощив все свои материальные и духовные силы, выкинут белый флаг.

Но сам фон Лееб и высшие командиры его штаба знали другую, так сказать, оборотную сторону сложившейся под Ленинградом ситуации. Им было хорошо известно, что, получив сообщение о блокировании Ленинграда, Гитлер, уверенный в том, что город будет взят в ближайшие три-четыре дня, приказал фон Леебу не позднее 15 сентября передать 41-й корпус Рейнгардта и часть авиации в распоряжение командующего группой армий «Центр» фельдмаршала фон Бока.

Об этом каждый день угрожающе напоминал фон Леебу настольный перекидной календарь.

И чем ближе становилась роковая дата, тем сильнее охватывало шестидесятипятилетнего фельдмаршала чувство тревоги.

Нет, он все еще не сомневался в том, что Петербург обречен. Разве войскам Кюхлера не удалось прорваться на побережье Финского залива? Разве полк, которым командовал Данвиц, не вышел на городскую трамвайную линию? Разве не прорвана советская оборона севернее Красного Села, не взят Урицк, расположенный в тринадцати с половиной километрах от Петербурга?

Ежедневно посылал фон Лееб донесения в Растенбургскую ставку, сообщая, сколько километров на данный час отделяют его войска уже не от Петербурга вообще, а от Кировского завода, от Дворцовой площади, от Смольного. Но каждый раз, когда фон Лееб бросал взгляд на календарь, а затем на огромную карту, висевшую на стене в его кабинете, карту, отражавшую положение немецких войск не только под Ленинградом, а и на всем необъятном Восточном фронте, он не мог не думать о том, что же будет, если, несмотря ни на что, Петербург не удастся захватить до 15 сентября.

Опытный военачальник, фон Лееб понимал, что не каприз, не сумасбродная воля, но железная необходимость заставила Гитлера назначить окончательную дату начала переброски части сил с севера на Московское направление.

Фельдмаршал сознавал, что ожесточенное сопротивление советских войск на северо-востоке, сковавшее там значительную часть немецкой армии, лишало Гитлера возможности сконцентрировать силы для броска на Москву. Более того, эта столь непредвиденная задержка,

несомненно, дала возможность Сталину подтянуть для обороны столицы дополнительные резервы из глубин страны и сформировать новые соединения.

Но теперь наступал поистине крайний срок. Потому что дальнейшее промедление заставило бы фон Бока вести боевые действия в условиях осенней распутицы, в преддверии страшной русской зимы.

Поэтому, хотя фон Лееб не сомневался в том, что из штаба 41-го корпуса вот-вот поступит желанное сообщение о прорыве к Кировскому заводу, что не сегодня-завтра будут захвачены Пулковские высоты и части 18-й армии ворвутся на Международный проспект, перед ним все чаще и чаще вставал роковой вопрос: что будет, если Петербург не падет до 15 сентября?..

Штаб фон Лееба по-прежнему размещался в Пскове. Теперь этот город стал глубоким тылом. Жителей в Пскове осталось мало, и если не было бомбежек советской авиации, то лишь тараканье мотоциклов и гудки штабных машин нарушали тишину почти безлюдных улиц.

Первое время после того, как фон Лееб переехал сюда со своим штабом из Восточной Пруссии, он любил стоять у окна, глядя на реку Великую, на развалины кремля и стараясь представить себе, как выглядит другая река и тот, другой Кремль, Московский, являющийся центром большевистского государства.

Достопримечательности Пскова – Поганкины палаты, древний Ивановский монастырь – его не интересовали, тем более что все эти сооружения порядком пострадали от артиллерии и бомбежек.

В еще меньшей степени занимала фон Лееба история этого древнейшего русского города, кроме, пожалуй, одного факта: фельдмаршалу доложили, что где-то здесь почти четверть века назад отрекся от престола последний русский царь.

Разумеется, судьба бывшего царя – противника кайзера в последней войне – его мало трогала. Вообще все русское, все связанное с Россией было чуждо этому высокомерному прусскому генералу, чуждо и враждебно.

Однако он был тщеславен и понимал, что если через полвека линия Мажино, за которую Гитлер наградил его Рыцарским крестом, будет в лучшем случае упоминаться лишь в военных учебниках, то слава немецкого генерала – покорителя Петербурга – города, ставшего колыбелью большевистской революции, – переживет века.

Но фон Лееб отдавал себе отчет и в том, что, как это ни парадоксально, он никогда еще так не рисковал всем своим будущим, как именно теперь, стоя на пороге славы.

И вот роковое число наступило.

Пятнадцатого сентября фельдмаршал сидел у себя в кабинете, погруженный в тревожные размышления. Перед ним лежала не победная сводка Кюхлера, а перевод статьи какого-то подлого английского журналиста, опубликованной в стокгольмской газете. Прислал ее фон Леебу начальник генерального штаба Гальдер, с которым до войны фельдмаршала связывало многое такое, о чем теперь не хотелось вспоминать... Прислал без всяких комментариев, только подчеркнув красным карандашом несколько строк:

«Генерал фон Лееб имел приказ захватить Ленинград быстро и любой ценой. Он, несомненно, выполняет вторую половину этого приказа, оплачивая ужасную стоимость, но русские по-прежнему уверенно доказывают слабость генерала в выполнении первой части приказа».

Фон Лееб хорошо понимал, что означает этот услужливо посланный ему Гальдером перевод.

Два дня тому назад, сознавая, что к пятнадцатому ему Петербургом не овладеть, фон Лееб решился на то, на что никогда не пошел бы при иных обстоятельствах. Он послал в генштаб радиogramму с просьбой разрешить задержать исполнение приказа ставки о переброске части войск на запад хотя бы еще на четыре-пять дней, гарантируя, что за это время Петербург будет взят. Одновременно он отправил Гальдеру самолетом личное письмо, в котором умолял поддержать его просьбу.

Согласие было получено. Фон Леебу предоставлялось еще четыре дня.

«От этих четырех дней, – приписал к официальному тексту Гальдер, – зависит судьба многого и многих». Это звучало угрожающе и не нуждалось в расшифровке. О «многих» фон Лееб обычно не заботился. Но на этот раз в их число входил и он сам...

Итак, у фельдмаршала оставалось в запасе еще четыре дня и четыре ночи – девяносто шесть часов, которые должны были решить судьбу Петербурга, и, может быть, его собственную. В дальнейшем ему пришлось бы штурмовать город уже без корпуса Рейнгардта, без части 1-го воздушного флота, пока целиком находящегося в его подчинении.

Но об этом «дальнейшем» фон Лееб не хотел думать. Он был убежден в том, что четырех дополнительных суток ему будет достаточно.

Однако реальные факты противоречили оптимистическим расчетам фельдмаршала.

Предпринятые им попытки прорваться от Стрельны к Кировскому заводу окончились неудачей. Максимум, что удалось сделать его войскам, это приблизиться к развалинам какой-то загородной больницы, от которой до Кировского завода было еще не менее четырех километров.

Ключом к Петербургу фон Лееб не без основания считал Пулковские высоты, и в частности главную из них, на которой находилась обсерватория. Но ни систематический обстрел, ни попытки захватить эту командную высоту штурмом не давали желаемых результатов.

Казалось бы, затраченных снарядов и авиабомб было достаточно для того, чтобы навеки подавить все живое как на самой высоте, так и у ее основания. К тому же авиаразведка доносила фон Леебу, что на высоте не осталось ничего, кроме развалин обсерватории.

Но сегодня эти сообщения уже не вводили фон Лееба в заблуждение. Ему было ясно, что где-то в не пробиваемых с воздуха пещерах-укрытиях, в паутине траншей и окопов, покрывавших подступы к высоте, по-прежнему действуют десятки орудий, непрерывно ведущих дуэль с вражеской артиллерией, и, как только солдаты 18-й армии поднимутся на очередной штурм высоты, выжженная огнем земля оживет, русские мгновенно появятся, точно из глубоких недр, и устремятся в контратаку.

Огромный урон немецким войскам наносили советская авиация и крупнокалиберная морская артиллерия Балтийского флота. Она била во фланг и тыл частям, вновь овладевшим Урицком и штурмующим Пулково. Необходимо было удержать Урицк, чтобы не допустить прорыва русских в тыл войскам, атакующим Пулковские высоты, и во что бы то ни стало захватить сами высоты. Это было предпосылкой успешного штурма Петербурга.

Фон Лееб сидел, склонившись над письменным столом, охваченный противоречивыми чувствами: всячески подогреваемой им самим верой в победу и тревогой за свою судьбу.

Вошел адъютант и молча положил на стол перед фельдмаршалом только что полученное донесение от командующего 18-й армией. Генерал Кюхлер сообщал, что час тому назад русским удалось отбить Урицк...

По ночному, пламенеющему от зарева пожаров Ленинграду мчалась легковая автомашина. На переднем сиденье, рядом с шофером, сидел, угрюмо насупившись, член Военного совета Ленинградского фронта, секретарь горкома партии Васнецов. Он спешил в район боевых действий 21-й дивизии НКВД, занимавшей оборону в районе Урицка.

Несколько часов тому назад от нового командующего войсками 42-й армии генерал-майора Федюнинского поступило донесение: «Враг выбит из Урицка».

Донесение это было встречено в Смольном с радостью и облегчением. Являющийся, по существу, юго-западной окраиной Ленинграда, город Урицк, находясь в руках врага, служил ему отличным плацдармом для накопления сил и подготовки прорыва в Кировский район.

Однако радость была недолгой. Двумя часами позже командующий 42-й доложил, что в Урицк снова ворвались немцы.

Федюнинский колебался, передавая шифровальщику текст этого донесения. Было двенадцать часов ночи, и он надеялся, что к утру дивизия НКВД, державшая оборону у северных окраин Урицка, снова отобьет его у врага.

Но подобно тому как Сталин не прощал малейшей попытки утаить от Ставки любую, пусть не имеющую решающего значения плохую весть и не так давно пришел в ярость, когда Жданов и Ворошилов промедлили с сообщением о захвате немцами железнодорожной станции Мга, так и Жуков не терпел обмана и способен был жестоко покарать любого командира, который в надежде на последующий успех не доложил бы своевременно о постигшей его неудаче.

И Федюнинский хорошо это знал. Поэтому, поколебавшись, он приказал не только передать Жукову донесение по телеграфу, но и продублировать его кодом по телефону, добавив при этом, что командиру 2-й дивизии НКВД приказано отбить город не позднее четырех ноль-ноль.

После телефонного разговора со штабом армии Васнецов и решил немедленно выехать в район Урицка, чтобы лично ознакомиться с создавшимся положением.

Ленинград и корабли Балтийского флота только что подверглись двухчасовому налету вражеской авиации. И хотя теперь взрывов бомб уже не было слышно, штаб МПВО все еще не объявлял отбоя. Небо пламенело от вспыхнувших в разных концах города пожаров. Завывая сиренами, мчались по улицам пожарные и милицейские машины.

Время от времени из подъездов домов выбегали укрывшиеся там от налета патрульные с намерением преградить путь несущейся по центру мостовой «эмке», – движение по городу во время воздушной тревоги было разрешено только специальным машинам и «Скорой помощи», но, увидев особый комендантский пропуск на ветровом стекле, поспешно освобождали дорогу.

По мере приближения к Нарвской заставе водителю приходилось все чаще притормаживать: путь преграждали баррикады, и, чтобы проехать по узкому проходу между ними, Васнецову надо было не раз предъявлять документы красноармейцам и людям в гражданской одежде, вооруженным винтовками и гранатами, – рабочим с Кировского и других заводов, выделенным для дежурств на контрольно-пропускных пунктах.

Недалеко от Кировского завода, перед виадуком, под которым была сооружена баррикада, машину вновь остановили. Подошли двое вооруженных людей: пожилой, в косоворотке и пиджаке, перепоясанном широким армейским ремнем, за который был заткнут наган, и молодой парень в сдвинутой на затылок кепке.

Проверив удостоверение, пожилой вернул его.

– Не признали вас сразу, товарищ Васнецов.

– С Кировского? – спросил Васнецов.

– С него самого. Сальников моя фамилия, мастер из механического. Вы у нас позавчера в цеху на митинге выступали. Куда же едете, Сергей Афанасьевич, ведь там уже передний край?! – Он махнул рукой в темноту.

– Туда и надо. В дивизию Папченко.

– Туда теперь не проехать. До Котляковского парка кое-как доедете, а дальше все изрыто, перепаяхано.

– Попробуем, – сказал Васнецов и направился к машине.

– Сергей Афанасьевич! – окликнул его Сальников и, подойдя к уже взявшемуся за ручку дверцы Васнецову, спросил, понизив голос: – Под Урицком-то как дела?

– Скрывать не буду, – сказал Васнецов, – врагу удалось снова захватить Урицк.

– Так... ясно, – мрачно произнес Сальников. – Значит, с часу на час можно ждать немца здесь.

– Да, – столь же мрачно ответил Васнецов. – К этому надо быть готовыми.

– Что ж, мы готовы, – заверил Сальников и повторил: – Мы готовы.

Васнецов молча протянул ему руку. Сальников с силой пожал ее, как бы подкрепляя свое заверение.

Через несколько сотен метров Васнецов убедился, что Сальников был прав: дальше трамвайного парка имени Котлякова по искореженной снарядами, бомбами, перегороженной надолбами дороге проехать было невозможно, тем более с потушенными фарами.

– Жди здесь, – сказал Васнецов шоферу, выходя из машины. – Но только до рассвета. Если не вернусь – газуй назад. Мишенью стоять нечего.

– А как же вы? – встревоженно спросил шофер.

– Доберусь. Тут недалеко, – уже на ходу бросил ему в ответ Васнецов.

Командира дивизии на КП не оказалось. Начштадив доложил Васнецову, что полковник находится на наблюдательном пункте 14-го полка.

В сопровождении связного Васнецов стал пробираться туда. Он шел слегка пригибаясь, – несмотря на ночное время, посвистывали пули. Впереди, на юге, не более чем в полутора-двух километрах отсюда, горел Урицк. Казалось, что весь этот городок превратился в огромное грозовое, черное облако, которое время от времени прорезали похожие на молнии языки пламени.

Васнецов хорошо знал Урицк – бывший поселок Лигово, расположенный на юго-западной окраине Ленинграда. В сущности, Урицк, связанный с центром города трамвайным и автобусным транспортом, и был частью Ленинграда. Партийными организациями Урицка руководил Кировский райком.

Но сейчас Васнецов старался гнать от себя страшную мысль, что немцы, по существу, уже находятся в пределах самого Ленинграда. Он шел, стиснув зубы, иногда припадая к земле, когда свист пуль становился особенно резким или когда в небе вспыхивали осветительные ракеты.

О лично ему грозящей опасности Васнецов не думал. Не думал отнюдь не потому, что ему было свойственно исключительное бесстрашие или полное презрение к смерти, – просто все мысли Васнецова были связаны сейчас только с одним – с судьбой Ленинграда.

Когда на плечи человека ложится тяжелый груз ответственности за судьбу других людей, он, как правило, уже не находит времени, чтобы подумать о себе. Судьба его переплетается с чужими судьбами, чьи-то жизни становятся его собственной жизнью.

Следуя за почти неразличимым связным, на ощупь выбирая путь между занятыми бойцами окопами, перепрыгивая через ходы сообщения, обходя пулеметные гнезда и огневые позиции артиллерийских орудий, установленных для стрельбы прямой наводкой, Васнецов думал сейчас об одном: удастся ли снова выбить врага из Урицка?

Всего лишь несколько сотен метров отделяли его теперь от окутанного дымом города. Васнецов уже ощущал едкий запах гари, когда из темноты донесся голос связного:

– Здесь, товарищ дивизионный комиссар!

Связной спустился по деревянным ступенькам и потянул в сторону плащ-палатку, прикрывавшую вход в землянку.

Пригнувшись, чтобы не задеть головой низкую притолоку, Васнецов шагнул через порог.

Полковник Папченко, рослый, в красноармейской стеганке, туго перепоясанный ремнем, в стальной каске, стоял согнувшись над неким подобием стола – узкой, неоструганной доской, лежащей на двух чурбаках. На груди полковника висел автомат.

Увидев столь неожиданно появившегося Васнецова, он попытался выпрямиться и, упираясь своей каской в бревенчатый накат землянки, доложил:

– Товарищ член Военного совета, двадцать первая дивизия ведет бой за город Урицк. Командир дивизии полковник Папченко.

Васнецов сделал шаг вперед, огляделся. На столе лежал освещенный тусклым пламенем керосиновой лампы истрепанный, замусоленный план Урицка.

В углу, прямо на полу, сидел телефонист, положив руку на полевой аппарат. В противоположном углу спали, прикрывшись одной шинелью, еще два красноармейца.

Из-под шинели выглядывали стволы автоматов, – очевидно, спящие не выпускали их из рук.

– Как следует понимать ваши слова, товарищ Папченко? – резко спросил Васнецов. – Что значит «ведет бой»? Доложите обстановку точнее.

– По нашим данным, Урицк... – начал Папченко.

Но Васнецов прервал его:

– Хотите сказать: захвачен противником? Это Военному совету уже известно.

– Не вполне так, товарищ дивизионный комиссар, – возразил Папченко. – Несколько наших групп ведут бои в самом городе. Уверен, что они прорвутся.

– Куда «прорвутся»?! – с яростью в голосе воскликнул Васнецов. – Назад к Ленинграду?

Папченко ничего не ответил. На его покрытом копотью лбу выступили капли пота. Он снял каску, подшлемник и провел по взмокшим волосам рукавом стеганки.

«Зачем это я? – подумал Васнецов. – Разве криком поможешь?..»

– Товарищ Папченко, – сказал он, заставляя себя говорить спокойно, – вокзал тоже занят немцами?

– Занят, – устало проговорил Папченко, кладя на стол каску, – я сам только что оттуда. Три раза людей в атаку поднимал, хотели станцию отбить – не получилось. Там у немца автоматчиков полно и танки... Пришлось окопаться у переезда возле оврага, может, знаете то место. Малость отдохнут люди, и снова начнем атаковать.

– Насколько мне известно, – сказал Васнецов, – командующий приказал вам отбить Урицк к четырем ноль-ноль, верно? Сейчас, – он посмотрел на часы, приближая их к свету коптилки, – два сорок. Сумеете выполнить приказ?

Папченко помолчал, словно еще раз прикидывая в уме, сколько ему осталось времени, потом устало ответил:

– Нет. Не сумею.

– Но... как же так?! – В голосе Васнецова, помимо его воли, прозвучали не только возмущение, но и растерянность.

– Товарищ член Военного совета, – сказал Папченко, – у меня бойцы вот уже почти сутки не выходят из боя... Я коммунист и чекист. И врать не умею. К полудню, может быть, и выкинем фашистов. А раньше едва ли. Сделаем все, что можем. Меня командующий расстрелять грозил, если не отобью Урицка. Так что жизнь моя у него в залоге.

– Товарищ полковник, – глядя на командира в упор, проговорил Васнецов, – я не знаю, в залоге ли ваша жизнь у командующего, но Кировский район, а значит, и Ленинград у вас в залоге. Положение, товарищ Папченко, отчаянное. Рабочие Путиловского готовятся выйти на баррикады. От вас и ваших бойцов во многом зависит, перекинутся ли бои на улицу Стачек... Я должен скоро вернуться в Смольный. Оттуда поеду на КП Федюнинского: над Пулковскими высотами тоже нависла угроза. Что мне сообщить Военному совету, товарищу Жданову?

– Будем драться, – угрюмо ответил Папченко. – Разрешите отбыть на передний край, товарищ дивизионный комиссар?

– Я пойду с вами, – сказал Васнецов.

– Товарищ член Военного совета, – нахмурился Папченко, – я считаю, что вы не должны без прямой необходимости рисковать жизнью. На переднем крае сейчас простреливается каждый метр.

– Не пугай, товарищ Папченко, не пугай, – усмехнулся Васнецов, – сам понимаю, что страшно, но дело, видишь ли, требует. Что же мне, по-твоему, докладывать Военному совету только о том, что с командиром дивизии поговорил? С тобой Смольный и без моего посредства связаться может. По телефону. – Он помолчал мгновение и с неожиданной горячностью

воскликнул: – Людей твоих мне надо видеть! Тех, кто сейчас за Урицк бой ведет. Иначе какой же я комиссар, да еще дивизионный!.. А теперь разговор окончен. Пошли.

Папченко неуверенно повел плечами, потом резко повернулся к спящим бойцам и громко скомандовал:

– Связные, подъем!

12

Все попытки Федора Васильевича Валицкого вернуться в свою ополченскую дивизию закончились безрезультатно.

Еще в начале августа он, уверенный, что рано или поздно попадет на фронт, уговорил свою жену Марию Антоновну эвакуироваться – уехать в Куйбышев.

Точнее, Федор Васильевич заставил ее уехать. Другого выхода он не видел. После выписки из госпиталя Мария Антоновна была очень слаба, рана на бедре то и дело открывалась, кровоточила. Врач сказал, что всему причиной возраст, постоянное нервное напряжение и что ей следует или снова лечь на длительное время в больницу, или – что лучше – уехать из Ленинграда в тыл.

Мария Антоновна умоляла мужа разрешить ей остаться, продолжать лечение дома или, на худой конец, вернуться в больницу.

Федор Васильевич, презрев обиду, отыскал своего старого друга доктора Осьминина – тот был теперь главным врачом одного из госпиталей где-то на Выборгской. Осьминин приехал, осмотрел Марию Антоновну, потом заперся с Валицким в его кабинете.

– Вот что, Федор, – сказал он решительно, – ты не дури. Обеспечить послеоперационный уход в домашних условиях сейчас невозможно. Марию Антоновну надо немедленно отправить из Ленинграда. Питание становится с каждым днем все хуже, в таких условиях заживление ран, в особенности у пожилых людей, тянется месяцами.

– А если... снова в больницу? – робко спросил Валицкий.

– Во-первых, – ответил Осьминин, – там теперь тоже плохо кормят. И, кроме того, ни одна больница не застрахована от прямого попадания бомбы или снаряда. В мой госпиталь шарахнуло уже два. В этих условиях оставлять Марию Антоновну здесь – преступление. Да и я на твоём месте уехал бы с ней.

– Однако на своём месте ты пошел в ополчение, а теперь состоишь на военной службе, – угрюмо заметил Валицкий.

– Верно, – согласился Осьминин, – но в ополчении был и ты. А на военной службе меня держат потому, что я врач. Так что дело тут не в моем личном героизме, а в требованиях военного времени. Уехав вместе с Марией Антоновной, ты смог бы обеспечить ей и необходимый уход и лечение.

– Я не могу уехать, – упрямо возразил Валицкий. – Со дня на день жду вызова в свою часть.

Осьминин с сомнением покачал головой, однако, зная характер друга, больше не стал убеждать его уехать.

– Ну, тогда тем более жену следует эвакуировать, – сказал он. – Что ж ты хочешь, оставить ее одну, больную, в Ленинграде?

В словах Осьминина была железная логика, и Валицкий не нашелся что возразить.

– Где Анатолий? – спросил Осьминин.

– На фронте, служит в инженерных войсках, – поспешно ответил Валицкий.

Осьминин не знал, что все, что касалось сына, Валицкий воспринимал особенно болезненно.

– Пишет? – спросил Осьминин.

– Получил два письма. Ты бы черкнул Толе. Я дам тебе номер его полевой почты.

Последние слова Валицкий произнес несвойственным ему просительным тоном: Федору Васильевичу казалось, что получить такое письмо сыну будет особенно приятно. Он поспешно написал на листке бумаги номер полевой почты Анатолия и вложил Осьмину в нагрудный карман гимнастерки.

Сам он писал теперь Анатолию письма, полные таких слов любви, которые раньше никогда не мог бы заставить себя ни написать, ни произнести вслух. То, что Анатолий лишь два раза ответил ему, Валицкий объяснял тяжелыми фронтовыми условиями, тем, что сыну, наверное, не до писем.

На каком участке фронта находится Анатолий, Федор Васильевич не знал, – в тех двух письмах-треугольниках, на которых стоял штамп «Проверено военной цензурой», никаких упоминаний об этом, естественно, не содержалось.

После беседы с Осьмининым Валицкий наконец решился отослать Марию Антоновну из Ленинграда.

До этого, уговаривая жену уехать, он испытывал подсознательное чувство страха при мысли, что она может согласиться. Он хотел, чтобы Мария Антоновна уехала, и в то же время боялся этого. Боялся потому, что, пожалуй, впервые за их долгую совместную жизнь понял, как трудно, как невыносимо тяжело будет ему остаться одному.

Дело было отнюдь не в привычных удобствах, не в уюте, который создавала жена. Он просто не мог себе представить, как будет жить без Марии Антоновны, зная, что не увидит ее ни сегодня, ни завтра, ни через месяц...

Никогда ранее не отдававший себе отчета в том, что, по существу, лишь эгоизм толкает его на те или иные поступки, нынешний Валицкий пристрастно оценивал каждый свой шаг, каждый помысел, стараясь определить, какое же чувство на деле им движет.

И, сознавая, что, разрешив Марии Антоновне остаться, он сделал бы это прежде всего для себя, Валицкий, не говоря ни слова жене, пошел в управление архитектуры, где после возвращения из ополчения продолжал числиться консультантом, и вернулся домой с документом, решившим дальнейшую судьбу его жены.

Прежде чем показать его Марии Антоновне, Валицкий несколько раз почти невидящими глазами перечитал типографским способом отпечатанные строки, над которыми были вписаны от руки фамилия, имя и отчество его жены:

«Районная комиссия по эвакуации обязывает вас выехать из гор. Ленинграда на все время войны в порядке эвакуации населения. Вам надлежит явиться в комиссию для получения эвакуационного удостоверения и посадочного талона на поезд».

...Потом Валицкий стоял на платформе, провожая взглядом уходивший поезд с завешенными изнутри окнами, который уже через несколько минут поглотила темнота, и, пожалуй, первый раз в жизни ощущая на своих губах соленый вкус слез...

Оставшись один, он еще упорнее стал добиваться возвращения в дивизию. Послал три письма в Смольный: два маршалу Ворошилову и одно Васнецову, но все эти письма остались без ответа.

Валицкий не знал, что его письма на имя Ворошилова вообще не были переданы маршалу, днём и ночью занятому неотложными делами. Поскольку речь шла о вступлении в ополчение, адъютанты переслали их в горвоенкомат, оттуда письма попали в райвоенкомат по месту жительства Федора Васильевича, а там их попросту «списали», убедившись, что речь идет о старике, снятом с военного учета.

Васнецову о письме Валицкого было доложено. Но, сразу вспомнив рвущегося под пули старого архитектора, он торопливо, не вдаваясь в подробности, сказал: «Нет, нет!» И это решило дело.

Федор Васильевич написал в дивизию Ивану Максимовичу Королеву, умоляя его разрешить вернуться, но получил короткий, хотя и дружеский, ответ, смысл которого сводился к тому, что в военное время надо подчиняться приказам, даже если они противоречат твоему личному желанию.

Помня, что в первые дни войны он относительно легко попал на прием к Васнецову, Валицкий решил снова пойти в Смольный. Однако порядки там изменились, и военная охрана не пропустила его даже за ворота.

Валицкий снова написал Ивану Максимовичу, но через неделю получил лаконичное извещение, что Королев из части выбыл.

Последнее, на что решился на днях Валицкий, была записка на имя Васнецова, которую Федор Васильевич сам отвез в комендатуру Смольного. В ней Валицкий уже не настаивал на возвращении в ополчение. Перечислив знакомые ему области градостроительства, он просил использовать его знания и опыт в деле обороны города. Он даже упомянул, что умеет неплохо рисовать, с тайной надеждой, что его смогут использовать хотя бы на работе по выпуску военных плакатов и лозунгов.

Однако и на эту записку ответа пока не было.

Федор Васильевич сознавал, что «властям» не до него: немцы – где-то возле Ленинграда, город подвергается систематическому обстрелу и бомбежкам, ухудшилось продовольственное снабжение.

Большинство коллег Валицкого его возраста были эвакуированы, некоторые получили назначение в организации, работающие на оборону. Валицкий же, вернувшись из ополчения, остался не у дел.

Единственным утешением Федора Васильевича была теперь Вера.

Нет, с тех пор как она неожиданно появилась в квартире Валицкого, Вера больше не приходила. Но раз в неделю, по воскресеньям, она звонила, спрашивая о здоровье Федора Васильевича и о письмах от Анатолия. Валицкий знал, что Вера работает теперь в одном из госпиталей и фактически там же и живет, что занята она по восемнадцать-двадцать часов в сутки и поэтому не имеет возможности навестить его. Но звонила она регулярно.

Вот и сегодня, в дождливое сентябрьское воскресенье, Валицкий сидел в кабинете, ожидая звонка. Сидел и думал о том, что эти несколько минут разговора, которые ему предстоят, остались единственной радостью в его жизни.

Обычно Вера звонила около восьми вечера. Было без четверти восемь, когда Валицкий нетерпеливо посмотрел на часы.

Если бы Федора Васильевича спросили, почему он не уезжает из осажденного города, ему, пожалуй, трудно было бы ответить. Быть ближе к сыну? Но сын на фронте. То, что отец в Ленинграде, скорее всего лишь причиняет Анатолию лишнее беспокойство, – ведь он знает, что город бомбят и обстреливают. Если бы жена была здесь, рядом, то Валицкий мог бы утешать себя мыслью, что нужен ей – больной и старой. Но и она теперь далеко...

Почему же он остается в Ленинграде? Потому что здесь стоят построенные им, Валицким, дома?.. Но он не нужен давно воздвигнутым домам, новых же сейчас никто не строит. И вообще он никому не нужен. То короткое время, которое он провел на фронте, в ополчении, он приносил пользу. Но и там оказался лишним...

Так размышлял Валицкий.

Будучи весь под властью этих невеселых мыслей, он тем не менее не спускал глаз с телефонного аппарата, каждое мгновение ожидая звонка.

Звонок раздался, когда стоящие в углу кабинета часы показывали без пяти восемь. Валицкий схватил трубку, поднес к уху и, радуясь, что сейчас услышит голос Веры, торопливо проговорил:

– Да, да, слушаю!

– Валицкий Федор Васильевич? – раздался в трубке женский голос.

– Да, да, это я! – еще не отдавая себе отчета в том, что это не Вера, воскликнул Валицкий.

– Ваш телефон выключается на время войны, – снова зазвучал в трубке холодный, какой-то металлический голос.

– Что?.. Как?.. – недоуменно пробормотал Валицкий. – Как выключается? – И поспешно добавил: – У меня уплачено до... Кто это говорит?

– Телефонная станция. Аппарат выключается до конца войны.

– Послушайте! – оглушительно крикнул в микрофон Валицкий. – Мне должны сейчас позвонить! Вы... вы не имеете права! Я...

И вдруг он понял, что кричит в пустоту. Никто не слышал его. Аппарат был мертв.

Валицкий медленно положил трубку на рычаг, потом с какой-то едва тлеющей надеждой снова снял ее, приложил к уху. Но по-прежнему не услышал ни звука, ни шороха. Ничего. С таким же успехом можно было прислушиваться к куску дерева или металла.

Он положил трубку на стол. Часы гулко пробили восемь.

Произошло непоправимое. Теперь Вера уже не сможет ему позвонить...

С отчаянием Валицкий подумал о том, что не знает адреса Веры – ни домашнего, ни служебного. Ему показалось, что она потеряна для него навеки...

Федор Васильевич попытался взять себя в руки и трезво обдумать случившееся. Хотя он еще не знал, выключены ли в городе все квартирные телефоны или это касается только людей, не связанных с выполнением оборонных заданий, было ясно, что телефона лишился не только он. Следовательно, Вера не может не узнать об этом. Возможно, что уже при первой попытке дозвониться до него ей сообщат со станции, что телефон выключен. В этом случае она придет сюда сама. Несомненно, придет... Но когда? При ее занятости вряд ли ей легко будет выбрать время.

И кроме того, если взглянуть правде в глаза, зачем он ей, собственно, нужен? Ведь до сих пор Вера звонила просто так, из чувства сострадания, понимая, что происходит у него на душе. Звонила, так сказать, в память об Анатолии. Снять трубку и позвонить – для этого всегда можно найти время. Но покинуть госпиталь на два-три часа только для того, чтобы навестить взбалмошного старика? Вряд ли...

И все-таки Валицкий надеялся, что Вера придет. Она чувствует, что необходима ему. Она добрая, чуткая девушка. Она придет хотя бы для того, чтобы узнать, нет ли новых писем от Анатолия.

Когда? Может быть, уже сегодня вечером, убедившись, что телефон не работает. Или завтра. Но придет обязательно, в этом Валицкий уже не сомневался.

Он медленно положил трубку на рычаг ненужного теперь телефона. Откинулся в кресле и закрыл глаза. Из черной тарелки прикрепленного к стене репродуктора доносился мерный стук метронома. Это означало, что в городе сейчас спокойно.

«О, если бы этот метроном был чувствителен не только к очередному несчастью, обрушившемуся на сотни тысяч людей, но и к горю каждого отдельного человека! – подумал Валицкий. – Тогда он постоянно стучал бы лихорадочно быстро...»

Потом мысли его перескочили на другое: «Где же все-таки живет Вера? Очевидно, где-то в районе Нарвской заставы. Именно туда направлялся трамвай, на который я посадил ее в тот поздний июльский вечер. Да, да, несомненно, за Нарвской, ведь ее отец работал раньше на Путиловском, и вполне естественно, что они жили где-то неподалеку...»

Валицкий вспомнил, как, вернувшись на грузовике из дивизии, шел по улице Стачек, как ехал на трамвае мимо Нарвских ворот.

Перед его мысленным взором снова возникли эти ворота – Триумфальная арка, увенчанная колесницей Славы, увлекаемой вперед шестеркой вздыбившихся коней. Валицкий почему-то подумал о том, что эта скульптурная группа более динамична, чем колесница на арке Главного штаба.

Неужели он доживет до того дня, когда через Нарвские ворота пройдут, возвращаясь с фронта, победоносные войска, разгромившие немецко-фашистские полчища?!

Нет, он слишком стар. А победа еще слишком далека – враг на пороге Ленинграда.

Валицкий плохо представлял себе, где именно сегодня находится враг, но знал, что у самого города.

И все же он был убежден, что, несмотря на то что врагу удалось дойти до стен Ленинграда, захватчики все равно обречены, что они будут разгромлены, перемолоты, закопаны в землю...

Отвлекаясь от горьких раздумий о своей судьбе, о жене, о сыне, чья жизнь ежеминутно подвергается смертельной опасности, о Вере, голос которой он теперь не может услышать, Федор Васильевич постарался представить себе, каким же будет в Ленинграде день Победы.

«Несомненно, арка, возведенная в честь победы над Наполеоном, должна послужить триумфальными воротами для победителей и в этой войне, – подумал он. – Новую строить не надо. То, что наши бойцы пойдут именно под этой аркой, будет символизировать закономерность, неотвратимость разгрома любых захватчиков, поднявших меч на Россию. Правда, русские солдаты, возвращавшиеся с победой из Парижа, проходили под другой аркой, деревянной. Но ведь нынешняя, каменная, в основном повторяет ту, деревянную. А где-то неподалеку должен быть воздвигнут памятник в честь победы над фашизмом».

Где установить этот памятник? И каким он должен быть? Федор Васильевич представил себе советского воина со знаменем в руках, попирающего ногой свастику в виде извивающихся в конвульсиях переплетенных змей...

Старый архитектор увлекся. Придвинул к себе лист бумаги, взял карандаш и стал делать набросок...

Поглощенный работой, он не слышал, как зачастил метроном, не слышал глухих разрывов снарядов. Лишь голос диктора, объявляющего, что район подвергается артиллерийскому обстрелу, вернул Валицкого к реальной действительности.

«Чем я занимаюсь? – с недоумением и горечью подумал он. – Какие там памятники!.. Когда еще она придет, победа?!»

Федор Васильевич стал собираться в бомбоубежище.

Раньше он туда не ходил, а сидел в своем кабинете, прислушиваясь к стрельбе зениток и взрывам бомб. Но после того как к нему однажды явились дежурные из МПВО и предупредили, что привлекут его к ответственности за несоблюдение правил поведения гражданского населения, Валицкий смирился и стал спускаться во время тревоги в подвал.

В отличие от многих других, он никогда не брал с собой ни еды, ни подушки с одеялом, хотя обстрелы длились иногда по несколько часов, – ничего, кроме заранее приготовленного портфеля, в котором лежали фотографии жены и Анатолия и письма сына с фронта. Отправляясь в убежище, Валицкий доставал из шкафа какую-нибудь книгу и тоже клал ее в портфель. Он брал книгу наугад, следя лишь за тем, чтобы она не имела отношения к архитектуре, – все, что напоминало Валицкому о его ненужной теперь профессии, вызывало у него горечь и раздражение.

На этот раз он также взял, не выбирая, одну из тех книг, к которым уже много лет не прикасался, сунул ее в портфель и пошел к двери.

Бомбоубежище – большой, плохо освещенный, сырой подвал, бывшая котельная, – было уже полно людьми. Женщины с детьми, старики сидели и лежали на скамейках и койках-раскладушках.

Каждый раз, когда Валицкий входил в этот подвал, он испытывал горькое чувство от сознания своей принадлежности к людям, никакого активного участия в обороне города не принимающим, обреченным лишь на страдания, связанные с войной.

Валицкий осмотрелся и, всем своим видом давая понять, что оказался здесь совершенно случайно, прошел между раскладушками, матрацами, расстеленными на каменном полу, к дальней скамье.

Там сидели женщина в косынке, инвалид с костылями, прислоненными к скамье, и какой-то старичок в металлических «дедовских» очках, на коленях его лежал сверток, очевидно, с чем-то съестным – масляные пятна уже проступили на оберточной бумаге.

Валицкий раскрыл свой портфель, вынул книгу и с удивлением обнаружил, что это томик Марка Твена на английском языке.

Марка Твена Валицкий читал лишь в юности и помнил только его повести о Томе Сойере и Гекльберри Финне. В памяти почему-то застряла также фраза писателя о том, что бросить курить очень легко, поскольку он, Марк Твен, делал это раз десять.

Федор Васильевич попытался сейчас припомнить, где и когда он купил эту прекрасно изданную книгу, – вероятно, еще до революции, за границей. Посмотрел оглавление. Одно из заглавий – «Таинственный незнакомец» – привлекло его внимание. Подумав, что именно подобного рода чтение поможет отвлечься от невеселых мыслей, Валицкий раскрыл книгу.

Однако едва он прочел первые строки, как услышал из-за двери громкий мальчишеский голос: «Нет, нет, не хочу, не пойду!»

Через минуту на пороге появился заплаканный мальчишка лет десяти, подталкиваемый сзади женщиной.

Все недовольно посмотрели в их сторону.

Женщина умоляюще сказала:

– Тише, Володя, тише! Не мешай людям отдыхать. Ты же видишь, люди тут...

Сидевший рядом с Валицким старичок чуть приподнялся и тем добродушно-ироническим тоном, которым обычно обращаются взрослые к напроказившим детям, сказал:

– Почему плачем, молодой человек по имени Володя?

Мальчик молчал, вытирая текущие по щекам слезы, а женщина торопливо проговорила:

– Вы уж извините, товарищи! Не хочет в убежище идти, ревет как оглашенный!

Она снова подтолкнула мальчишку:

– Иди, иди! Вспокоил людей!..

Мальчик сделал шаг вперед и опять остановился, обводя присутствующих недружелюбным взглядом.

– Какова же причина подобного поведения молодого человека? – не унимался сосед Валицкого.

Женщина села на уголок скамьи, притянула к себе упрямо передергивающего плечами мальчишку и ответила:

– Видите, вот не хочет! Трусы, говорит, только в убежище идут!.. Вы уж простите, – спохватилась она и добавила без всякого перехода: – Отец-то наш на фронте.

– Это почему же трусы? – явно обиженно проговорил сидевший на противоположной скамье мужчина средних лет с наголо обритой головой, в армейской хлопчатобумажной гимнастерке, но без петлиц.

Парнишка выпрямился и громким, срывающимся голосом закричал:

– Трусы! Конечно, трусы! Все вокруг говорят: смелым, смелым надо быть! А как же я смелым буду, если она чуть что – в убежище гонит?!

– А ты думаешь, смелость в том, чтобы фрицу башку под снаряд подставлять? – уже спокойнее спросил бритоголовый.

Несколько мгновений мальчик глядел на него в упор пристальным, недетским взглядом. Потом сказал с вызовом:

– А вам... а вам тоже на фронте надо быть!

– Я и был, – теперь уже совсем добродушно ответил бритоголовый. – На, гляди, если не веришь.

Он подтянул левую штанину, и все увидели, что нога – в гипсовой повязке.

– Стыдно, стыдно, Володя! – громким шепотом сказала женщина, снова притягивая к себе мальчика.

На этот раз он покорился, сел рядом, опустив голову.

В убежище снова наступила тишина.

«А меня никто не заподозрит в трусости. Никто не скажет, что мое место на фронте! – с горечью подумал Валицкий. – Старик! Все видят, что старик!...»

Чтобы не растревать себя, он снова попытался читать.

Это была странная повесть. Действие происходило в 1500 году. Дьявол, принявший человеческий облик, явился к ничего не подозревающим, играющим в лесу мальчишкам. Сначала он продемонстрировал им несколько элементарных фокусов, которые тем не менее поразили детское воображение. Потом решил вмешаться в жизнь городка. Прделки следовали одна за другой...

Незаметно для себя Валицкий увлекся чтением и не заметил, что сидящий рядом неугомонный старичок время от времени заглядывает в его книгу.

Неожиданно тот спросил:

– На каком же это вы языке читаете?

– На английском, – буркнул, не поднимая головы, Валицкий.

– Великая вещь – знание иностранных языков, – со вздохом произнес старичок. – И о чем, извините, идет речь?

– О черте, – снова буркнул Валицкий, чувствуя, что от назойливого соседа не так легко отделаться.

– О че-ерте? – удивленно переспросил старик. – Гм-м... А я, грешным делом, когда вы сказали, что английским владеете, хотел вас спросить, не слышно ли что-нибудь о втором фронте?

Логика мышления соседа была более чем наивна.

Валицкий опустил раскрытую книгу на колени и иронически улыбнулся:

– Почему вы изволите полагать, что мне что-либо известно о втором фронте?

– Ну... – смущенно произнес старичок, – я думал... Ведь англичане теперь наши союзники. Говорят, что следует ожидать...

– Ничего не следует ожидать! – резко оборвал его Валицкий. – К вашему сведению, на протяжении всей своей истории Англия заботилась только о себе.

Увидев, как растерян и даже испуганно заморгал сосед, Федор Васильевич, смягчившись, добавил:

– Кроме того, я читаю не английского, а американского писателя. И не современного.

– Так, так, понимаю, – закивал головой старик. – Как прозывается, позвольте полюбопытствовать?

– Марк Туэйн, – сухо ответил Валицкий, машинально произнося имя писателя по-английски.

– Понимаю, – снова закивал сосед и добавил виновато: – Не приходилось слышать.

Наконец старик уgomонился.

В подвале было тихо, слышался только учащенный стук метронома, – обстрел там, наверху, продолжался.

Валицкий снова погрузился в чтение.

Повесть из остроумной сказки постепенно превращалась в философский трактат. Дьявол проповедовал взгляд на людей как на существа, в нравственном отношении стоящие ниже животных.

Старичок опять оторвал Валицкого от книги:

– Извините великодушно. Вот вы пояснили, что про черта читаете. Надо полагать, в фигуральном, так сказать, смысле?

Валицкий раздраженно захлопнул книгу. Сосед начинал ему явно надоедать. Кроме того, Федор Васильевич заметил, что люди, сидевшие рядом, стали прислушиваться к их разговору. Ему следовало бы промолчать, оставить вопрос старика без ответа. Но это было не в характере Валицкого.

– Вы хотите мне сообщить, что чертей в природе не существует? – язвительно произнес он.

– Нет, почему же! – возразил сосед. – Я, например, полагаю, что Гитлер и есть дьявол.

– Гитлер – негодяй и мракобес, – не замечая, что повышает голос, ответил Валицкий, – но к чертям отношения не имеет. Такими чертями, к вашему сведению, полна история человечества. Все эти Аттилы, Чингисханы, Барбароссы...

– Вы образованный, вам виднее, – согласно закивал старик, – но я все же думаю, что человек не может делать такое...

Он как-то растерянно заморгал и тихо добавил:

– У меня внучку убило... Маленькую... Мать в больнице лежит, отец на фронте. Она с матерью по улице шла. По Кировскому проспекту. И – снаряд... Дочке ногу оторвало. А внучку... Валечку... – Он неожиданно всхлипнул. – Даже чтобы похоронить, ничего не осталось... совсем ничего... Вы понимаете?

Валицкий почувствовал, как у него сдавило горло.

– Да, да... – поспешно и как-то виновато сказал он. – Я понимаю. Это ужасно...

– А я вот... сижу в подвале и спасаю свою жизнь... никому не нужную жизнь... – говорил старик. – Вот бутерброды соседка сунула... – Он кивнул на свой промасленный сверток и повторил с горькой усмешкой: – Бутерброды!.. Если бы я увидел... тех, что стреляют, у меня хватило бы сил, чтобы удушить... хоть одного... одного, на большее меня не хватит...

Старик умолк. Но его слова оказались той искрой, от которой вспыхнул пожар. Люди заговорили разом, перебивая друг друга, торопясь поведать каждый о своем горе: о разрушенном бомбой или снарядом доме, под обломками которого погибли их дети, или сестры, или братья, о «похоронке» на мужа или сына, полученной с фронта... Казалось, даже воздух этого подвала пропитан ненавистью к фашистам.

Федор Васильевич потрясенно слушал, губы его дрожали.

Выговорившись, люди стихли. Матери стали успокаивать проснувшихся детей, старики понуро опустили головы...

«Боже мой, почему я здесь, а не на фронте?! – хотелось крикнуть Валицкому. – Разве уже все окопы и эскарпы отрыты, все доты построены, все надолбы установлены, все мосты взорваны, разве нет применения моим знаниям, моему опыту?!»

Ритм метронома вдруг переменился: стал спокойным, размеренным. Прошла минута, другая, и голос диктора из черной тарелки репродуктора, прикрепленной к стене подвала, объявил:

– Обстрел района прекратился. Отбой!

Люди стали подниматься со своих мест. Направился к двери и Валицкий.

Кто-то тронул его за рукав. Федор Васильевич обернулся. Рядом шел старик – сосед по скамейке, он тихо сказал:

– Но мы его найдем, этого дьявола... Дети наши его найдут... Найдут и втопчут в землю. Вот так, вот так!.. – И старик яростно топнул ногой по гулкому каменному полу.

Следующий день прошел у Валицкого так же бесцветно, как и предыдущие.

Федор Васильевич зашел в архитектурное управление, чтобы сообщить, что телефон его выключен и в случае надобности его следует вызывать открыткой или телеграммой, пообедал в учрежденческой столовой, к которой был прикреплен, и к шести часам вечера возвратился домой.

Ему казалось, что сегодня его должна навестить Вера. Почему? Да потому, что, узнав вчера, что телефон его отключен, она наверняка постарается зайти. И скорее всего, это будет именно сегодня, в то время, когда обычно она звонила, то есть часов в восемь вечера.

Так убеждал себя Валицкий.

Он понимал, что его предположение сконструировано чисто логически, без учета многих обстоятельств: Вера может быть настолько занята, что вообще не сумеет отлучиться из госпиталя, и тем более маловероятно, что она придет именно сегодня.

И все же Валицкий ждал ее. Ему хотелось видеть Веру не только потому, что она могла получить письмо от Анатолия, – сам Федор Васильевич вот уже третью неделю не имел вестей от сына. Нет, она была нужна, необходима ему сама по себе: даже телефонного разговора с Верой было достаточно, чтобы Федор Васильевич переставал чувствовать себя заброшенным и одиноким.

И вот он сидел в кресле, дочитывая, чтобы скоротать время, ту самую повесть Марка Твена, на которую так случайно наткнулся вчера. То и дело он откладывал книгу, брал карандаш и задумывался над наброском памятника Победы. Потом устремлял взгляд на желтый металлический циферблат стоящих в углу старинных часов, следил за тем, как короткими, едва заметными рывками передвигается его черная минутная стрелка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.